



ДАФНА ДЮМОРЬЕ

Хрустальный
или кубок,
Стеклодувы



Лауреат
Национальной
книжной
премии США

PREMIUM

Азбука Premium

Дафна Дюморье

**Хрустальный кубок,
или Стеклодувы**

«Азбука-Аттикус»

1962

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Дюморье Д.

Хрустальный кубок, или Стеклодувы / Д. Дюморье — «Азбука-Аттикус», 1962 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-15814-6

«Хрустальный кубок, или Стеклодувы» – это захватывающая семейная сага, в основу которой легла история предков Дафны Дюморье. Эпоха Великой революции с ее мятежами и бунтами, свободой и насилием, бросающая близких людей по разные стороны баррикады и заставляющая проявлять человечность или бездушие, показана сквозь призму жизни нескольких поколений французских стеклодувов. Книга вышла в свет в 1963 году – Дафна Дюморье к этому времени была на пике славы. Уже опубликованы и стали мировыми бестселлерами «Ребекка» и «Моя кухня Рейчел», успехом пользуются и другие романы и рассказы Дюморье, включая знаменитых «Птиц». Написано несколько романизированных биографий («Джеральд», «Берега», «Мери Энн»), в которых, как и в «Хрустальном кубке», Дафна Дюморье обращается к истории своей семьи. Погружаясь в эпоху былых времен, исследуя характеры и судьбы, автор распутывает таинственные нити, которыми настоящее связано с прошлым.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-15814-6

© Дюморье Д., 1962
© Азбука-Аттикус, 1962

Содержание

Пролог	6
Часть первая	13
Глава первая	13
Глава вторая	20
Глава третья	30
Глава четвертая	38
Глава пятая	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Дафна Дюморье

Хрустальный кубок, или Стеклодувы

Daphne du Maurier

THE GLASS-BLOWERS

Copyright © Daphne du Maurier, 1963

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC.

© В. М. Салье, перевод, 2018

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018

Издательство АЗБУКА®

* * *

Пролог

Однажды в июне 1844 года мадам Софи Дюваль, урожденная Бюссон, дама восьмидесяти лет от роду, которая приходилась матерью мэру Вибрейе, небольшого городка в департаменте Сарт, поднялась с кресла в гостиной своего дома в Ге-де-Лоне, выбрала из стойки в холле любимую трость, позвала собаку и направилась, как обычно по вторникам в это время дня, по короткой подъездной аллее к воротам.

Она шла бодро, быстрым шагом человека, не подверженного – или не желавшего поддаваться – обычным слабостям преклонного возраста; ее живые синие глаза – заметная черта ее в общем-то ничем не примечательного лица – внимательно смотрели по сторонам, то вправо, то влево; она отметила, что нынче утром не разровняли гравий на аллее, бросила взгляд на плохо подвязанную лилию, увидела неаккуратно подстриженный бордюр на клумбе.

Все эти огрехи будут в свое время исправлены, об этом позаботятся ее сын-мэр или она сама; ибо, несмотря на то что Пьер-Франсуа исполнял должность мэра Вибрейе вот уже четырнадцать лет и возраст его приближался к пятидесяти годам, он тем не менее прекрасно знал, что дом и все имение Ге-де-Лоне – собственность его матери и что во всех делах, касающихся ухода за домом и его содержания, последнее слово принадлежит именно ей. Это имение, которое мадам Дюваль и ее муж в свое время, на рубеже двух веков, приобрели с тем, чтобы поселиться там, когда они удалятся от дел, было невелико, всего несколько арпанов земли и небольшой дом; но это была их собственность, они его купили, заплатили за него деньги, что дало им право на статус землевладельцев, приравняв, к великой их гордости, к «бывшим», к владельческим сеньорам, которые кичились тем, что земля принадлежит им по праву рождения.

Мадам Дюваль поправила вдовий чепец на пышных седых волосах, собранных в высокую прическу. Она еще не успела дойти до конца аллеи, как услышала давно ожидаемые звуки: звякнул запор, калитка скрипнула, открываясь, а потом закрываясь, и вот уже садовник, которому предстояло получить выговор и который был вдобавок грумом, посыльным и вообще приглядывал за домом, шел ей навстречу с почтой, доставленной из Вибрейе.

Почту обычно приносил ее сын-мэр по вечерам, возвращаясь домой, если было что приносить; но раз в неделю, каждый вторник, из Парижа приходило особое письмо, письмо от ее замужней дочери, мадам Розию, и поскольку это было самое драгоценное событие в жизни старой дамы за всю неделю, она не могла дотерпеть до вечера. И вот уже несколько месяцев, с тех пор как супруги Розию переселились из Мамера в Париж, садовник по особому распоряжению мадам отправлялся за несколько лье на почту, спрашивал письма, адресованные в Ге-де-Лоне, приносил их и отдавал ей лично в руки.

Это он и проделал сейчас; сняв шляпу, он вручил ей ожидаемое письмо, сопровождая это привычным замечанием:

– Мадам может быть довольна.

– Благодарю, Жозеф, – ответила она. – Ты знаешь, как пройти на кухню. Пойди посмотри, не осталось ли там для тебя кофе.

Можно было подумать, что человеку, проработавшему в Ге-де-Лоне добрых тридцать лет, надо напоминать о том, что он знает, где находится кухня. Она подождала, пока садовник скроется из виду, и только тогда пошла следом за ним. Это тоже было частью ритуала – подождать, пока слуга отойдет на почтительное расстояние, и только тогда, мерным шагом, в сопровождении собаки, направиться вслед за ним, держа в руках нераспечатанное письмо; подняться по ступенькам, войти в дом, затем в гостиную, снова сесть в кресло у окна и предаться наконец долгожданному удовольствию – прочесть письмо от дочери.

Мать и дочь были связаны между собой крепкими узами, какие много лет тому назад связывали Софи Дюваль с ее матерью Магдаленой. У сыновей, даже если живешь с ними под одной

крышей, свои заботы, свои дела, жена, политические интересы, а вот дочь, пусть и замужняя, как, например, Зоэ (кстати сказать, супруг ее – довольно способный доктор), всегда остается частью матери, всегда ее дитя, ее наперсница; с ней можно разделить радость и горе; она хранит семейные словечки, давно забытые сыновьями. Горести дочери были отлично известны – если не сейчас, то в прошлом – матери; мелкие размолвки между мужем и женой, которые порой возникают в семейной жизни, знавала и мадам Дюваль; ей случалось их пережить, так же как и всевозможные хозяйственные затруднения, высокие цены на рынке, внезапные болезни, необходимость рассчитать прислугу – словом, все те разнообразные обстоятельства, из которых состоит жизнь женщины.

Письмо было ответом на то, которое она написала дочери неделю назад в связи с днем рождения Зоэ. Двадцать седьмого мая той исполнился пятьдесят один год. Этому трудно было поверить. Более полувека прошло с того дня, когда мадам Дюваль впервые поднесла к груди крошечный комочек человеческой плоти – своего третьего ребенка и первого из оставшихся в живых. Как хорошо она помнит этот летний день, когда все окна были широко распахнуты в сад, в комнате слышался горьковатый запах дыма от стекловарной печи, а звуки шагов и разговоры рабочих, сновавших по двору между заводскими помещениями, заглушали стоны роже-ницы.

Девяносто третий год, первый год республики... Какое ужасное время для появления на свет ребенка! Бушует Вандейский мятеж¹, страна охвачена войной, предатели-жирондисты² стремятся сокрушить Конвент, патриот Марат убит молодой истеричкой; бывшую королеву, несчастную Марию-Антуанетту, держат в заточении в Тампле, а затем гильотинируют в наказание за все те беды, которые она принесла Франции.

Такое тяжелое и такое волнующее время! Дни, наполненные то триумфом и ликованием, то отчаянием. Все это сейчас перешло в область истории, люди в большинстве своем забыли эти события, которые отступили на задний план, вытесненные подвигами императора и достижениями его эпохи. И сама она вернулась к этим воспоминаниям, только когда узнала о смерти одного из своих сверстников; тут прошлое снова встало перед глазами, и она вспомнила, словно все было вчера, что этот человек, которого только что положили в могилу на кладбище Вибрейе, состоял в Национальной гвардии под командованием ее брата Мишеля и что эти двое, Мишель и он, вместе с ее мужем Франсуа в ноябре 1795 года повели отряд, состоявший из рабочих их стекольного завода, громить замок Шарбонье.

Говорить о таких вещах в присутствии ее сына-мэра нельзя. В конце концов, он верный подданный короля Луи-Филиппа, и вряд ли ему понравятся воспоминания о том, какую роль играли его отец и дядюшка в те бурные революционные дни, еще до того, как он родился; хотя, видит бог, ее так и подмывало это сделать, когда сын начинал слишком уж важничать, разглагольствуя о своих буржуазных принципах.

Мадам Дюваль вскрыла письмо и расправила листки, густо исписанные неразборчивым почерком дочери, где то и дело встречались зачеркнутые и перечеркнутые слова и строчки. Слава богу, она обходилась без очков, несмотря на свои восемьдесят лет. «Дорогая моя матушка...»

Прежде всего Зоэ благодарила за подарок ко дню рождения (пестрое лоскутное одеяло, которое шилось дома в зимние и весенние месяцы), затем шли мелкие семейные новости: ее муж, врач по профессии, написал доклад об астме, который должен прочесть в медицинском обществе; у ее дочери Клементины новый и очень хороший учитель музыки, и она делает боль-

¹ *Вандейский мятеж* – крестьянское восстание, разжигавшееся роялистами во время Великой французской революции. Назван по главному очагу контрреволюции в 1793 г. – департаменту Вандея.

² *Жирондисты* – политическая группировка, защищавшая в основном интересы республиканской торгово-промышленной и земельной буржуазии. Названы по департаменту Жиронда, откуда были родом многие члены группировки.

шие успехи; и, наконец, – почерк становился все более небрежным из-за волнения, вызванного важностью сообщаемого, – главная новость, приберегаемая напоследок в качестве сюрприза.

В воскресенье вечером мы были у соседей в Фобур-Сен-Жермен, – писала Зоэ. – Там, как обычно, собралось много врачей и ученых и велись очень занимательные разговоры. Мы с мужем обратили внимание на одного человека, который впервые появился в нашем маленьком кружке. У него приятные манеры, и с ним было интересно разговаривать. Он оказался изобретателем: получил патент на переносную лампу и надеялся заработать на этом немало денег. Нас познакомили. Вообрази себе мое удивление, когда я узнала, что его зовут Луи-Матюрен Бюссон, что он родился и вырос в Англии, родители его были эмигрантами, и приехал он в Париж совсем молодым человеком вскоре после Реставрации вместе со своей матерью – ныне покойной, – братом и сестрой. С тех пор он живет то в Париже, то в Лондоне, зарабатывая на жизнь, насколько я понимаю, своими изобретениями. И там и тут у него имеются коммерческие предприятия. Женат он на англичанке, у него есть дети и дом на улице Помп, а также мастерская в Фобур-Пуассоньер. Я бы не обратила на это особого внимания, если бы не странное сочетание двух имен – Бюссон и Матюрен – и не упоминание об отце-эмигранте. Я была осторожна, постаралась ничем себя не выдать, не сказала, что твоя девичья фамилия – Бюссон, а Матюрен – традиционное семейное имя, но когда я как бы между прочим спросила, была ли у его отца какая-нибудь профессия или же имелся независимый доход, позволявший ему жить в праздности, он не задумываясь и с заметной гордостью ответил: «О да, он был мастером-стеклодувом и одновременно заводчиком – ему до революции принадлежало несколько стекольных мануфактур. Одно время он был первым гравировщиком по хрусталу в Сен-Клу, на королевской мануфактуре, которой покровительствовала сама королева. Естественно, что, когда разразилась революция, он по примеру духовенства и аристократии эмигрировал в Англию вместе с молодой женой, моей матерью, и вследствие этого ему пришлось терпеть всевозможные лишения и нужду. Его полное имя было – Робер-Матюрен Бюссон Дю Морье, и умер он внезапно и трагически в тысяча восемьсот втором году, сразу после Амьенского мира³, когда приехал во Францию в надежде вернуть фамильные владения. После его отъезда моя бедная мать осталась в Англии с малыми детьми, не подозревая о том, что расстанется с ним навсегда. Мне было в ту пору пять лет, и я не сохранил о нем воспоминаний, но моя мать воспитала в нас глубокое уважение к отцу, внушая нам, что это был человек самых высоких принципов и честности и, конечно, роялист до мозга костей».

Матушка... Я кивала головой, что-то говорила, пытаюсь собраться с мыслями. Ведь я права, не так ли? Этот человек должен быть моим кузеном, он сын вашего любимого брата и моего дядюшки Робера. Но что означают все эти разговоры о том, что его фамилия – Дю Морье, что он оставил семью в Англии и умер в 1802 году, тогда как нам прекрасно известно, что он умер вдовцом и что его сын Жак был капралом в Великой армии? Ну как же, мне было восемнадцать лет, когда умер дядя Робер, он же был учителем в Туре. Почему же этот изобретатель мсье Бюссон, который, судя по всему,

³ Амьенский мир – мирный договор между Францией и Великобританией, заключенный в 1802 г.

должен быть его сыном, рассказывает о своем отце совсем другое, совсем не то, что говорила нам ты? И он, очевидно, ничего не знает о том, как на самом деле умер его отец, и даже не подозревает о твоём существовании.

Я спросила, есть ли у него здесь родня. Он ответил, что, по его мнению, нет. Все они были гильотинированы во время Террора, а шато⁴ Морье вместе с мануфактурами был уничтожен. Справок он не навёл. Так было лучше. Прошлое минуло и забыто. Тут наша хозяйка прервала нас, и мы расстались. Я больше с ним не разговаривала. Но я нашла его адрес: номер тридцать один по улице Помп в Пасси, это на случай, если вы захотите, чтобы я с ним связалась. Как вы думаете, матушка, что мне следует делать?

Мадам Дюваль отложила письмо дочери и задумчиво посмотрела в окно. И так... это случилось. Понадобилось более тридцати лет, но все-таки случилось. То, что, по мнению Робера, было абсолютно невозможно. «Эти дети вырастут в Англии и останутся там жить, – говорил он. – Зачем они поедут во Францию, в особенности если будут знать, что их отец умер? Нет, с этой частью моей жизни покончено раз и навсегда, так же как и с прошлым вообще».

Мадам Дюваль снова взяла письмо и перечитала его еще раз от начала до конца. Перед ней было два пути. Первый: она могла написать Зоэ, чтобы та не делала дальнейших попыток связаться с человеком, назвавшим себя Луи-Матюреном Бюссоном. И второй путь: ехать незамедлительно в Париж, явиться к мсье Бюссону в дом номер тридцать один по улице Помп, сообщить об их родственных связях и увидеть наконец перед смертью своего племянника.

Первую возможность она отвергла, едва осознав. Следовать по этому пути означало бы изменить семье, то есть пойти против всего, что было ей дорого. Надо пойти вторым путем, и немедленно, как только это будет возможно.

В тот вечер, когда ее сын-мэр вернулся из Вибрейе, мать сообщила ему новости, и было условлено, что она поедет в Париж на следующей неделе и остановится там у дочери, в Фобур-Сен-Жермен. Все попытки сына ее отговорить оказались тщетными. Она была тверда. «Если этот человек – обманщик, мне достаточно будет на него посмотреть и я сразу это увижу, – сказала она. – Если нет, тогда я исполню свой долг».

Вечером накануне отъезда в Париж она подошла к шкафчику в уголке гостиной, открыла его ключом, который хранила в медальоне у себя на груди, и достала кожаный футляр. Этот футляр она аккуратно уложила вместе с несколькими платьями, которые собиралась взять с собой.

В воскресенье на следующей неделе, около четырех часов, мадам Дюваль вместе с дочерью, мадам Розию, явилась с визитом в дом номер тридцать один по улице Помп в Пасси. Дом был расположен в хорошем месте, на пересечении улиц Помп и Тур, напротив школы для мальчиков. Позади дома находился сад и длинная аллея, обсаженная деревьями, которая вела прямо к Булонскому лесу.

Дверь им открыла приветливая горничная, она взяла их визитные карточки и проводила в красивую комнату, выходящую окнами в сад, из которого слышались крики играющих детей. Через минуту-другую на пороге стеклянной двери, ведущей в сад, появился мужчина, и мадам Розию, коротко объяснив цель визита и извинившись за вторжение, представила свою мать.

Одного взгляда оказалось достаточно. Голубые глаза, светлые волосы, посадка головы, быстрая любезная улыбка, говорящая о желании понравиться в сочетании с намерением обернуть обстоятельства в свою пользу, если только есть такая возможность, – тут был весь Робер, каким она помнила его сорок, пятьдесят, шестьдесят лет тому назад.

⁴ Шато – дом или замок в имении землевладельца.

Мадам Дюваль обеими руками взяла его протянутую руку и долго не выпускала, устремив пристальный взгляд своих глаз, как две капли воды похожих на его глаза, на лицо этого человека.

– Простите, – сказала она, – но у меня есть все основания полагать, что вы мой племянник, сын моего старшего брата Робера-Матюрена.

– Ваш племянник? – Он с удивлением смотрел то на мать, то на дочь. – Но боюсь, что я не понимаю... Я впервые встретил мадам... мадам Розию две недели тому назад. Я не имел удовольствия встречаться с вами раньше, до этого, и...

– Да-да, – перебила его мадам Дюваль. – Я знаю, как вы познакомились, но дочь была слишком удивлена, когда узнала ваше имя, и поэтому не сказала, что девичья фамилия ее матери – Бюссон и что ее дядей был Робер-Матюрен Бюссон, мастер-стеклодув, который эмигрировал... Короче говоря, я ее мать, а ваша тетушка Софи, и я ждала этого момента почти полвека.

Они подвели мадам к креслу и усадили, та отирала слезы – так глупо, говорила она, не выдержать и расплакаться, и как стал бы смеяться над ней Робер. Через несколько минут она успокоилась и в достаточной мере овладела собой для того, чтобы осознать то обстоятельство, что ее племянник хотя и выказал большую радость, обнаружив родственные отношения между ними, но в то же время был в некотором недоумении: его тетушка и кузина оказались скромными провинциалками, а не высокородными титулованными дамами и не могли похвастаться ни обширными поместьями, ни замками, пусть и разрушенными.

– Но самое имя Бюссон, – настаивал он. – Я привык думать, что мы принадлежим к аристократическому бретонскому роду, который известен с четырнадцатого века, что мой отец, мастер-дворянин, сделался гравировщиком исключительно для своего удовольствия, что наш девиз – «Abret ag Agoag», то есть «Первый и главный» – принадлежал средневековым рыцарям Бретани. Неужели вы хотите сказать, что все это неправда?

Мадам Дюваль смерила племянника скептическим взглядом:

– Ваш отец был первым, наиглавнейшим и самым неисправимым выдумщиком из всех, которые только существуют на свете, – холодно сказала она, – и если Робер рассказывал эти басни в Англии, у него, несомненно, были на то свои основания.

– Но шато Морье, – возражал изобретатель, – замок, который крестьяне сожгли до основания во время революции?

– Это простая ферма, – отвечала его тетушка, – и она так и стоит с тех самых пор, как ваш отец родился там в тысяча семьсот сорок девятом году. Там до сих пор живут наши родственники.

Племянник устался на нее в полном недоумении.

– Здесь, наверное, что-нибудь не то, – возразил он. – Моя мать, наверное, ничего об этом не знала. Разве что... – Он внезапно замолчал, не зная, что сказать, и по выражению его лица тетушка поняла: ее откровенные слова разрушили некую иллюзию, которую он лелеял с самого детства, его уверенность в себе поколеблена и он, возможно, стал сомневаться в своих силах.

– Скажите мне только одно, – попросила мадам Дюваль. – Она была вам хорошей матерью?

– О да! – воскликнул он. – Самой лучшей на свете. А пришлось ей нелегко, должен вам сказать, после того как мы остались без отца. Но у матери были хорошие друзья среди французских эмигрантов. Они помогали нам деньгами. Мы получили отличное образование в одной из школ, основанных аббатом Карроном, вместе с детьми других эмигрантов – Полиньяков, Лабурдоменов и прочих. – В голосе его послышались горделивые нотки. Он не заметил, как его тетушка поморщилась, когда он произносил имена, которые она и ее братья ненавидели более пятидесяти лет тому назад.

– Моя сестра, – продолжал он, – компаньонка герцога Палмелы в Лиссабоне. Брат Жемс живет в Гамбурге, у него там свое дело. А сам я надеюсь с помощью влиятельных друзей выпустить на мировой рынок лампу собственного изобретения. Нам нечего стыдиться, ни у кого из нас нет для этого никаких оснований, у нас прекрасные виды на будущее... – Он снова замолчал, остановившись на полужестком. На его лице мелькнуло оценивающее выражение, странным образом напоминавшее его отца. Эта тетюшка из провинции, конечно же, не принадлежит к аристократии, но, может быть, у нее водятся деньги, которые она отложила на черный день?

Мадам Дюваль без труда прочла его мысли, как в свое время читала мысли брата Робера.

– Вы такой же оптимист, как ваш отец, – сказала она племяннику. – Тем лучше для вас. Так гораздо проще жить.

Он снова стал очаровательно любезен, к нему вернулось прежнее обаяние, шарм Робера, подкупающее пленительное выражение лица, перед которым она никогда не могла устоять.

– Расскажите мне об отце, – попросил он. – Вы, конечно, всё знаете. С самого начала. Даже если он родился на ферме, как вы говорите, а не в замке. Даже если он на самом деле не аристократ...

– А авантюрист, – закончила тетюшка.

В этот момент в комнату вошла из сада жена ее племянника, а за ней – трое ребят-шек. Горничная принесла чай. Беседа стала общей. Мадам Розию, которой показалось, что мать слишком бесцеремонна, стала расспрашивать жену новообретенного кузена о жизни в Лондоне, о том, чем эта жизнь отличается от парижской. Изобретатель показал модель своей портативной лампы, которая должна была принести ему богатство. Мадам Дюваль хранила молчание, рассматривая поочередно каждого из троих детей, ища в них фамильное сходство. Да, конечно, малютка Изабель, резвая живая девчушка, немного похожа на ее собственную сестру Эдме, когда та была в том же возрасте. Второй мальчик, Эжен, или Жижи, не вызвал в ней никаких воспоминаний, а вот старший, десятилетний Жорж, которого дома называли Кики, – это Пьер в миниатюре: те же задумчивые глаза, та же манера стоять, скрестив ноги и засунув руки в карманы.

– А ты, Кики, – обратилась она к нему, – что ты собираешься делать, когда вырастешь?

– Отец хочет, чтобы я стал аптекарем, – ответил мальчик, – но я сомневаюсь, сумею ли выдержать экзамены. Больше всего я люблю рисовать.

– Покажи мне свои рисунки, – шепотом попросила она.

Он выбежал из комнаты, довольный проявленным интересом, и через минуту возвратился с папкой, в которой лежали его работы. Она вынимала из папки один рисунок за другим, внимательно рассматривая каждый.

– У тебя талант, – похвалила она. – Когда-нибудь ты употребишь его на пользу людям. Это у тебя в крови.

Тут мадам Дюваль обернулась к племяннику-изобретателю, прервав оживленную беседу, в которой он принимал участие.

– Я бы хотела подарить вашему сыну Жоржу одну вещь, – проговорила она. – Этот предмет должен принадлежать ему по праву наследования.

Она нащупала во внутреннем кармане широкого мантии сверток, достала его и принялась медленно разворачивать. Бумага упала на пол, обнаружив кожаный футляр. Мадам Дюваль вынула из него хрустальный кубок, на котором были выгравированы королевские лилии и вензель «L. R. XV».

– Этот кубок изготовлен на стекольном заводе Ла-Пьер, в Кудресье, – пояснила она. – Гравировка на нем сделана моим отцом, Матюреном Бюссоном, по случаю визита короля Людовика Пятнадцатого. Этот кубок имеет свою весьма любопытную историю. Вот уже много лет он хранится у меня. Мой отец, бывало, говорил, что, пока кубок не разобьется, пока он хранится

в семье Бюссон, в ней не иссякнет творческий дар, в той или иной форме он будет передаваться от одного поколения к другому.

В полном молчании новообретенный племянник, а также его жена и дети смотрели на кубок. Затем мадам Дюваль снова положила его в футляр.

– Ну вот, – сказала она маленькому Жоржу, – оставайся верным своему таланту, и кубок принесет тебе счастье. Если же ты изменишь своему дару, пренебрежешь им, как мой брат, кубок тут же опустеет, счастье вытечет из него.

Она с улыбкой передала футляр мальчику, а потом обернулась к племяннику-изобретателю:

– Завтра я возвращаюсь к себе домой, в Ге-де-Лоне. Возможно, мы никогда больше не увидимся. Впрочем, я вам еще напишу, для того чтобы рассказать – насколько это в моих силах – историю вашей семьи. Стеклодув – запомните это! – вдыхает в сосуд жизнь, придает ему образ и форму, а иногда и красоту. Но то же самое дыхание способно погубить сосуд, нарушить красоту, уничтожить ее. Если вам не понравится то, что я напишу, это не важно. Выбросьте всё в огонь, не читая, и ваши иллюзии останутся при вас. Что же до меня, то я всегда предпочитала правду.

На следующий день она уехала из Парижа и вернулась домой. Она не стала подробно рассказывать сыну, мэру Вибрейе, о своем визите – сказала только, что знакомство с племянником и его семейством всколыхнуло воспоминания. В течение следующих недель, вместо того чтобы отдавать распоряжения по имению и осматривать фруктовые деревья, овощи и цветы, она все время проводила за письменным столом в гостиной, исписывая страницу за страницей твердым прямым почерком.

Часть первая Королева Венгерская

Глава первая

«Если выйдешь замуж за стеклодела, – предупреждал Пьер Лабе мою мать, а его дочь Магдалену в 1747 году, – тебе придется распрощаться со всем, к чему ты привыкла, и войти в совершенно иной мир».

Ей было двадцать два года, а ее будущему мужу, Матюрену Бюссону, мастеру-стеклодуву из соседней деревни Шеню, – на четыре года больше, и они были с детских лет влюблены друг в друга. Это случилось с ними в первую же встречу, и с тех пор ни он, ни она ни разу не посмотрели ни на кого другого. Мой отец, сын купца, торговавшего стекольным товаром, осиротел в раннем возрасте и был взят вместе с братом Мишелем в подмастерья на стекольную мануфактуру, известную под названием Брюлоннери, в Вандоме, что между Бюлу и Виль-о-Клерком. Оба брата оказались весьма смыслеными, и мой отец, Матюрен, быстро выдвинулся, получил звание мастера-гравировщика и стал работать под началом самого Робера Броссара, хозяина мануфактуры, который принадлежал к одной из четырех знаменитых фамилий мастеров-стеклоделов во Франции.

«Я не сомневаюсь, что твой Матюрен Бюссон добьется успеха в любом деле, которым пожелает заняться, – продолжал Пьер Лабе, который сам был бальи⁵ в Сен-Кристофе и следил за соблюдением законов в своем округе; словом, занимал достаточно высокое положение. – Он надежный, работающий человек и отличный мастер своего дела. Но то, что он собирается взять жену со стороны, а не из своей общины, есть нарушение традиции. И тебе будет трудно приспособиться к их образу жизни».

Отец знал, о чем говорит. И дочь тоже это знала. Она не боялась. Мир стеклоделов весьма своеобразен. У него свои законы, свои правила и обычаи, особый язык, передаваемый не только от отца к сыну, но и от мастера к подмастерью и возникший бог знает как давно в тех местах, где стеклоделы основывали свои мануфактуры – в Нормандии, в Лорени, на Луаре, – но всегда, разумеется, в лесах, ведь лес – это пища для плавильной печи, самая основа существования стекловарни.

Законы, обычаи и привилегии, существовавшие в замкнутом мире стеклоделов, соблюдались даже строже, чем феодальные права аристократии; в них к тому же было больше справедливости и больше здравого смысла. Это был поистине замкнутый круг, тесная община, в которой каждый человек, будь то мужчина, женщина или ребенок, точно знал свое место, начиная от хозяина, который работал бок о бок со своими рабочими, наравне с ними, носил точно такую же одежду, но являлся в то же время господином и повелителем для всех остальных, и до шести-семи летнего ребенка, который был на подхвате, выходил на работу со взрослыми, дожидаясь того времени, когда сможет занять свое место у плавильной печи.

«То, что я делаю, – говорила мадемуазель Лабе, моя мать, – я делаю с открытыми глазами, не предаваясь пустым мечтам о легкой жизни. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, чтобы мне прислуживали. Матюрен уже разуверил меня на этот счет».

И все-таки, когда она стояла в тот день, 18 сентября 1747 года, рядом с женихом в церкви родной деревни Сен-Кристоф в Турени и смотрела сначала на родных – на богатого дядюшку Жорже и другого дядю, адвоката Тези, на своего отца, облаченного в парадное одеяние бальи, –

⁵ Бальи – в дореволюционной Франции королевский чиновник, исполнявший судебные и административные функции.

а потом переводила взгляд туда, где стояли родственники жениха вместе с рабочими и их женами, которые бросали на нее подозрительные, чуть ли не враждебные взгляды, в ее душе, как она рассказывала впоследствии нам, детям, возникли сомнения; она отказывалась назвать это страхом.

«Мною владело чувство, – говорила она, – какое должен испытывать белый человек в окружении американских индейцев, зная, что, едва зайдет солнце, ему предстоит войти в их лагерь, с тем чтобы никогда больше не возвращаться назад».

На стеклоделах не было, конечно, боевой раскраски, однако их черные блузы и панталоны, а также плоские черные шляпы, которые все они надевали по праздникам, резко отделяли их от родни моей матери, придавая им вид каких-то сектантов.

Так же особняком держались они и позже, во время свадебного завтрака, который, в силу высокого положения Пьера Лабе в Сен-Кристофе, был достаточно значительным событием – в нем принимала участие чуть ли не вся округа. Они стояли в стороне, сбившись в кучку. Перекинуться шуткой с другими гостями или сказать что-нибудь приятное им, должно быть, не позволяла гордость, поэтому они разговаривали, шутили и смеялись исключительно между собой, создавая немалый шум.

Совершенно свободно чувствовал себя лишь мсье Броссар, хозяин, у которого работал мой отец. Но ведь он был дворянин по рождению, и потом, кроме Брюлоннери, ему принадлежали еще три-четыре стекловарни. Согласившись присутствовать на свадьбе, он оказал моему отцу великую честь. И поступил так потому, что высоко ценил моего отца и намеревался через год-другой сделать его управляющим Брюлоннери.

Свадьба состоялась в полдень, так что счастливая чета и сопровождавший ее кортеж прибыли к месту свадебного пиршества – в противоположном конце Вандома – еще до полуночи. После того как был произнесен последний тост, моей матери пришлось снять элегантный подвенечный наряд, переодеться в дорожное платье и занять место – за компанию со всеми остальными – в одном из фургонов, в которых прибыли гости, для того чтобы отправиться в свой новый дом в лесах Фретваля. Господин Броссар с ними не поехал, его путь лежал в противоположном направлении. Мой отец Матюрен и моя мать Магдалена, а также сестра отца Франсуаза с мужем Луи Демере – он тоже был мастер-стеклодел – уселись впереди, рядом с кучером, а на задних скамьях, строго по старшинству, разместились мастера со своими женами: стеклодувы, плавильщики и флюсовщики; кочегары и сушильщики поместились во втором фургоне, а третий заполнили подмастерья под началом брата моего отца, Мишеля.

Всю первую половину путешествия, рассказывала моя мать, она слушала пение, ибо все стеклоделы были в какой-то степени музыкальны: они играли на разных инструментах, у них были свои собственные песни, в которых пелось о вещах, относящихся к их ремеслу. Напевшись вдоволь, они начали обсуждать, чем будут заняты завтра, а потом и всю неделю. Ее, нового человека, все эти дела нисколько не занимали, и, когда стало смеркаться, она почувствовала такую усталость – от волнения, от мыслей о новой, неведомой жизни, – что заснула, положив голову на плечо мужа, и не просыпалась, пока кортеж не достиг лесов Фретваля, проехав через весь Вандом.

Проснувшись она внезапно, ибо фургоны ехали уже не по мощеной дороге, и, открыв глаза, не увидела ничего, вокруг царил непроницаемый мрак. Не было видно даже звезд – ветви деревьев, переплетаясь, образовали сплошной свод, полностью закрывший от глаз небо. Под стать темноте была и тишина.

Фуруны двигались совершенно беззвучно по мягкой земле грунтовой дороги. По мере того как они углублялись в глухую лесную чащу, Магдалене снова пришла в голову мысль об индейцах и индейском лагере.

И вдруг, совершенно неожиданно, она увидела костры углежогов и впервые в жизни вдохнула запах обугленного дерева и золы, который будет сопровождать ее всю семейную жизнь,

запах, который будет так хорошо знаком и нам, детям, ибо он проникнет в нас с первым же глотком воздуха и станет символом нашего существования.

Тишины уже больше не было. Среди чащоб в глубине леса задвигались человеческие фигуры, которые сразу же устремились к повозкам. Послышались громкие крики, раздался смех. «В этот миг, – рассказывала моя мать, – у меня действительно было такое ощущение, что я нахожусь в индейском поселении, ибо лачуги углежогов напоминали нечто вроде форпостов, опоясывающих стекловарню, а сами они, здоровенные парни, черные от копоти, с длинными, до плеч, волосами, первыми приветствовали меня, молодую жену, на новом месте. То, что я приняла за нападение на наши повозки, оказалось на самом деле приветствием».

Эти ее слова нас, детей, крайне удивляли, поскольку мы выросли рядом с углежогами, знали их всех по именам, смотрели, как они работают, бывали у них в домах, навещая их, когда они хворали; но моей матери, дочери бальи из Сен-Кристофа, получившей деликатное воспитание и привыкшей к грамотной, правильной речи, грубые крики этих диких лесовиков, нарушившие тишину глубокой ночи, показались не менее страшными, чем звуки самого ада. Они, конечно же, должны были посмотреть на нее при свете пылающих факелов, а потом мой отец с дружеским смехом помахал им рукой, пожелал доброй ночи, и повозки снова двинулись с поляны в лес по оставшемуся отрезку дороги, ведущей к стекловарне. Брюлоннери в то время состояла из плавильни, которую окружали разные нежилые строения: склады, горшечная мастерская и сушилки. За ними шел длинный ряд домишек для рабочих, а немного поодаль, за широким двором, располагались дома мастеров. Впервые в жизни увидев плавильную печь, моя мать решила, что случился пожар: в воздухе метались языки пламени, во все стороны летели искры – само извержение вулкана не могло бы выглядеть страшнее.

– Мы приехали как раз вовремя, – решительно сказала она.

– Вовремя для чего? – удивился отец.

– Чтобы тушить пожар, – ответила она, указывая на печь.

Через секунду мама поняла свою ошибку и готова была откусить собственный язык за то, что поставила себя в такое идиотское положение, едва успев ступить на землю стекловарни. Само собой разумеется, ее слова со смехом подхватили все ехавшие вместе с ней в фургоне, а потом они перелетели и в другие повозки, так что мамин приезд из чинного ритуала, когда встречающие расступаются перед новобрачными, давая им дорогу, превратился в веселое шествие с толпой хохочущих людей к самой печи, для того чтобы она могла посмотреть на «пожар», который был источником их существования.

«Так я и стояла, – рассказывала она, – на пороге обширного сводчатого строения длиною около двадцати двух локтей⁶, в центре которого помещались две печи, закрытые, конечно, так что самого огня не было видно. Настало время перерыва – между полуночью и половиной второго, – так что некоторые рабочие спали где придется, прямо на полу, по возможности поближе к печи. Среди них попадались и дети. Бодрствующие пили из больших кружек крепкий черный кофе, который варили для них женщины. Тут же находились кочегары, обнаженные по пояс, готовые снова разжечь огонь в обеих печах для следующей смены. Мне казалось, что я попала в ад, что свернувшиеся клубочком дети – это жертвы, которые скоро бросят в чаны. Рабочие, пившие кофе, отставили свои кружки и воззрились на меня, то же самое сделали и женщины – все они ждали, что я стану делать».

«И что же вы сделали?» – спрашивали мы, ибо это была самая любимая часть рассказа и нам никогда не надоело об этом слушать.

«Единственное, что можно было сделать, – отвечала она нам. – Сняла дорожную накидку, подошла к женщинам и спросила, не могу ли я им помочь варить и разливать кофе. Они настолько удивились моей смелости, что, не говоря ни слова, протянули мне кофейник. Воз-

⁶ Во Франции эта мера длины равнялась примерно 1,2 м.

можно, это было не самое подходящее занятие для первой брачной ночи, зато после уже никто не мог сказать, что я неженка и белоручка, никто не смел дразнить меня дочкой бальи».

Мне-то кажется, никому и так не пришло бы в голову дразнить мою мать, что бы она ни сделала. Как говорил нам отец, даже в те дни, когда ей было всего двадцать два года, что-то в ее взгляде заставляло умолкнуть всякого, кто решался на какую-нибудь вольность. Она была очень высокой, на голову выше всех остальных женщин в поселке, стройная и широкоплечая. Даже мой отец, мужчина среднего роста, казался рядом с ней коротышкой. Свои белокурые волосы она убирала в высокую прическу, что подчеркивало горделивую осанку, которую мама сохранила на всю жизнь; мне кажется, это был предмет ее тайной гордости.

«Вот так я и вошла в тот мир, приобщилась к стеклянному делу, – рассказывала она нам. – На следующее утро началась новая смена, и я видела, как мой молодой муж надевает свою рабочую блузу и направляется к плавильной печи, предоставив мне самой привыкать к запаху древесного дыма и виду окружавшего меня селения, обнесенного оградой, за которой тянулся лес, один только лес и ничего, кроме леса».

Когда поздним утром ее золовка Франсуаза Демере пришла к ней, чтобы помочь распаковать вещи, она увидела, что все уже распаковано и прибрано, белье и платье разложены по местам, а моя мать Магдалена отправилась в мастерские, чтобы поговорить с флюсовщиком – мастером, который готовит поташ. Она хотела посмотреть, как просеивают золу, смешивают ее с известью и закладывают в котел, чтобы там все это прокипело, прежде чем поступит к плавилику.

Моя тетушка Демере пришла в изумление и негодование. Ее муж, мой дядя Демере, считался одним из самых важных людей на всем заводе. Он был мастер-плавильщик, а значит, готовил смесь для горшков, следил за тем, чтобы они были должным образом наполнены, прежде чем поступят в печь для очередной плавки. Но ни разу за всю их семейную жизнь тетушка Демере не полюбопытствовала, как ее муж готовит поташ, никогда не видела, как это делается.

– Первейший долг жены мастера – приготовить еду к тому времени, как муж придет с работы, – поучала она мою мать. – А еще заботиться о женщинах и детях мастеровых, которые работают под началом ее мужа. Ухаживать за ними, если заболеют. Работа на мануфактуре не наше дело.

Моя мать Магдалена с минуту помолчала. Она была достаточно благоразумна, чтобы не спорить с женщиной, столь хорошо знающей законы этого мира.

– Обед для Матюрена будет готов, когда он вернется домой с работы, – сказала она наконец. – А если я нарушила какое-нибудь правило, мне очень жаль. Прошу меня извинить.

– Дело тут не в правилах, – ответила тетушка Демере. – Это вопрос принципа.

Следующие несколько дней моя мать оставалась дома, чтобы не давать пищи для сплетен, но потом не смогла совладать со своей любознательностью и снова нарушила традицию. Она отправилась на мельницу, как ее называли, где глыбы кварца размельчались в порошок, который после тщательного просеивания становится основой стекльной массы. Прежде чем размельчать кварц, его необходимо перебрать, отделить от примесей, и этим как раз занимаются женщины; стоя на коленях вдоль ручья, они моют кварц в широких лотках. Моя мать Магдалена прямоком направилась к женщине, которая показалась ей старшей, назвала себя и спросила, нельзя ли ей тоже встать в ряд с остальными и научиться исполнять эту работу.

Должно быть, ее приход, не говоря уже о просьбе, вызвал немалое удивление, потому что ей ничего не сказали – просто позволили взять лоток и работать до полудня, когда мальчик ударил в огромный колокол и женщины, мужья которых должны были прийти с работы, отправились кормить их обедом. К этому времени, конечно, слух о случившемся разнесся по всему поселку – в таких местах это происходит очень быстро, – и когда мой отец, вернувшись домой,

скинул рабочую блузу и переоделся в воскресное платье, мама сразу поняла: что-то неладно. Вид у него был очень суровый.

– Я должен повидать мсье Броссара, – объявил он, – и объясниться по поводу твоего поведения. Он, наверное, все уже знает и ждет.

«Это был очень серьезный проступок, – говорила нам мать, – который мог оказать влияние на все наше будущее. И надо же было такому случиться в первую же неделю нашей совместной жизни!»

– Я совершила дурной поступок, работая с этими женщинами? – спросила она у мужа.

– Нет, – ответил он. – Но жена мастера занимает особое положение, более высокое, чем жены рабочих. Она не должна выполнять тяжелую и грязную работу. Это роняет ее в глазах других.

И снова матушка не стала спорить. Однако тоже переоделась и, когда отец пошел к мсье Броссару, отправилась вместе с ним.

Мсье Броссар встретил их в доме привратника, которым пользовался как приемной, когда приезжал на стекловарню. Он редко задерживался в одном месте дольше дня-двух и в тот же вечер собирался ехать дальше. Он вел себя значительно сдержаннее, чем на свадьбе, говорила матушка, когда предложил тост за здоровье жениха и невесты и поцеловал ее в щечку. Теперь это был хозяин, владелец Брюлоннери, а мой отец – всего лишь мастер-стеклодув, работающий на его мануфактуре.

– Вы знаете, почему я послал за вами, мсье Бюссон? – спросил он. На свадьбе он называл отца Матюреном, но здесь, в стенах мануфактуры, отношения между хозяином и мастером сделались церемонными.

– Да, мсье Броссар, – ответил мой отец, – и я пришел извиниться за то, что произошло сегодня утром на мельнице. Моя жена, движимая любопытством, позволила себе позабыть о приличиях и о том, что ей не следует себя так ронять. Как вы знаете, она здесь всего неделю.

Мсье Броссар кивнул и обратился к моей матери:

– Вы скоро ознакомитесь с нашими обычаями и свыкнетесь с нашими традициями. Если встретятся какие-нибудь затруднения, если вы не будете знать, как следует поступить в том или ином случае, а мужа вашего не будет дома, вы всегда можете обратиться к вашей золовке, мадам Демере, которой отлично известны все стороны жизни на стекольной мануфактуре.

Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. Мсье Броссар был человек невысокий, хотя держался с большим достоинством, и на мою мать ему приходилось смотреть снизу вверх – она была выше его.

– Позволительно ли мне сказать несколько слов? – спросила она.

Мсье Броссар поклонился.

– Разумеется, мадам Бюссон, – ответил он.

– Как вам известно, я дочь баллы, – начала она, – и мне с ранних лет приходилось наблюдать за работой отца. Мне случалось также помогать ему – приводить в порядок бумаги, готовить документы, необходимые для очередного процесса, – одним словом, я разбираюсь в законах.

Мсье Броссар снова поклонился.

– Я не сомневаюсь, что вы были ему хорошей помощницей, – заметил он.

– Это действительно так, – подтвердила моя мать. – И я хочу быть помощницей своему мужу тоже. Вы обещали сделать его в скором времени управляющим – либо здесь, либо на какой-нибудь другой мануфактуре, где он будет отвечать за всю работу. Когда это произойдет и когда ему придется отлучаться, я хочу быть в состоянии его заменить и руководить работой мануфактуры. Я не сумею этого сделать, не ознакомившись предварительно с тем, каким образом производится эта работа. Сегодня утром я получила свой первый урок на сортировке кварца.

Мсье Броссар с изумлением смотрел на мою мать, так же как и мой отец.

Она не дала им возможности что-нибудь сказать в ответ и продолжала свою речь.

– Матюрен, как вы знаете, все время придумывает что-то новое в своем ремесле, – говорила она. – Его голова занята всевозможными нововведениями. Вот и сейчас он думает не обо мне, а о какой-нибудь новинке. Когда он станет управляющим мануфактурой, то будет слишком занят новшествами и ему некогда будет заниматься текущими делами. Я намерена взять это на себя.

Мсье Броссар был в полном недоумении. Ни одному из его мастеров не случалось брать себе в жены такую решительную женщину.

– Мадам Бюссон, – сказал он, – все это очень похвально, однако вы забываете о первом и главном своем долге, о своей будущей семье.

– Я об этом не забываю, – возразила она. – Большая семья – это только часть моей работы. Благодарение богу, я достаточно сильна. Рождение и воспитание детей меня не беспокоит. Если вы считаете, что, работая вместе с другими женщинами, я уронила достоинство Матюрена, я больше не буду этого делать. Но если я вам это пообещаю, не сделаете ли и вы кое-что для меня? Я бы хотела знать, как ведутся конторские книги стекольной мануфактуры и как продается товар – я имею в виду сделки с торговцами. Мне кажется, что это весьма важная сторона дела.

Матушка добилась своего. Она не стала доискиваться, чему этим обязана – своей ли красоте или же силе воли и настойчивости (мне кажется, что и отец этого не знал), но не прошло и месяца, как в ее распоряжении оказались все книги и счета, а мсье Броссар отдал распоряжение торговцам, владельцам лавок ознакомить ее со всем, что касается финансовой стороны дела. Возможно, он считал, что это лучший способ удержать ее дома, отвлечь ее внимание от рабочих и их жен. Все это, однако, не мешало ей вставать среди ночи вместе с другими женщинами, когда отец работал в ночную смену, идти через двор в стекловарню и готовить ему кофе. Это была традиция, которой она считала необходимым следовать, и мне кажется, за всю свою жизнь она не пропустила ни одной ночной смены. Я мало знаю о том, что думали о ней жены других мастеров, не питали ли они зависти к моей матери оттого, что она была умнее и образованнее их, или оттого, что к ней благоволил мсье Броссар, но мне кажется, что не питали. Ведь ни одна из них, если не считать тетушку Демере, не умела ни читать, ни писать, и, конечно же, они не имели ни малейшего понятия о цифрах и о том, как вести конторские книги.

Впрочем, независимо от того, как относились к ней женщины, именно в первые годы ее пребывания в лесах Фретваля мама получила свое прозвище, которое сопровождало ее до конца дней и под которым она была известна не только в других местах, где им с отцом приходилось впоследствии работать, но и вообще повсюду, где занимаются нашим стекольным ремеслом.

В эти первые годы брака моего отца обуревали честолюбивые стремления. Он придумывал и создавал для Парижа, а также для сбыта на американском континенте лабораторную посуду и, кроме того, разнообразные приборы из стекла, которые использовались в химии и астрономии. Это было время, когда новые идеи получили быстрое и широкое распространение. Он всегда опережал свое время и в тот период своей работы в Брюлоннери сделал несколько интереснейших и ценных находок: ему удалось создать изделия совершенно новой, необычной формы. Эти инструменты изготавливаются теперь во множестве, ими пользуются врачи и аптекари по всей Франции, и имени моего отца ныне никто уже не помнит, а вот сто лет тому назад каждый аптекарь во Франции, покупая лабораторный инструмент, стремился найти именно то, что было изготовлено в Брюлоннери.

Продукция Брюлоннери пользовалась спросом и среди парфюмеров. Придворные дамы желали иметь на своем туалетном столике флаконы и флакончики самой затейливой формы, и чем изящнее, тем лучше, ибо в те поры влияние госпожи Помпадур на короля было безгранично и в великосветских кругах царила самая изысканная роскошь. Мсье Броссар, которого

со всех сторон осаждали парфюмеры, желавшие составить себе на этом состояние, умолял моего отца забыть на время про научные инструменты и придумать такой флакон, который удовлетворил бы требованиям самых знатных покупателей.

Все началось с шутки. Отец попросил мою маму постоять перед ним, чтобы он мог сделать набросок с ее фигуры. Голова, прямые широкие плечи, столь необычные для женщины, высокая изящная фигура, стройные бедра. Он сравнил свой рисунок с последним эскизом аптекарской бутылки, которую собирался пустить в производство, – контуры совпадали почти полностью.

«Я понимаю, в чем тут дело, – сказал он моей матери. – Я-то считал, что эскиз построен на основе математических расчетов, а на самом деле я просто работал по вдохновению, потому что думал все время о тебе».

Он надел рабочую блузу и отправился в мастерскую к своей печи и своим чанам. Никому и до сей поры не известно, что послужило моделью новому изделию – аптекарская бутылка или фигура моей матери (отец говорил, что последняя), но только этот флакон, который он изготовил для парижских парфюмеров, был восторженно принят как продавцами, так и покупателями. Во флакон наливалась туалетная вода под названием «Королева Венгрии» в честь Елизаветы Венгерской, которая сохранила свою красоту до глубокой старости, до семидесяти лет. Отец очень смеялся и рассказал об этом всем своим друзьям в мастерской и в поселке. Матушка была немало раздосадована, но, как бы то ни было, с этого момента она стала Королевой Венгерской, под каковым прозвищем и была известна всем и каждому занятому в стекольном деле вплоть до самой революции, после которой превратилась в гражданку Бюссон, благоразумно отказавшись от королевского титула.

И все-таки порой о нем вспоминали. Чаще всего – мой младший брат Мишель, когда ему хотелось быть особенно язвительным. Он, бывало, говорил своим рабочим, стараясь, чтобы слышала матушка, что, как известно всему Парижу, трупы знатных дам, чьи головы только что скатились в корзину гильотины, пахнут туалетной водой, которую сорок лет назад своими чудесными ручками разливала по флаконам хозяйка некоей стекольной мануфактуры на потребу версальским прелестницам.

Глава вторая

В числе знакомых мсье Броссара был маркиз де Шербон, чьи предки построили в прошлом веке небольшую стекольную мануфактуру в своих владениях, прилежащих к замку Шериньи, который располагался всего в нескольких лье от Шену, родной деревни отца, и Сен-Кристофа, родины моей матери. Стекловарная печь этой мануфактуры находилась в довольно плачевном состоянии из-за небрежения и неумелого использования, а маркиз де Шербон, который незадолго до описываемых событий унаследовал это имение и одновременно женился, решил привести заводик в порядок, с тем чтобы получать от него доход. Он посоветовался с мсье Броссаром, который тут же порекомендовал ему моего отца в качестве арендатора и управляющего, считая, что для того это будет прекрасной возможностью попробовать свои силы в новом качестве. Он сможет проявить себя не только как отличный мастер своего дела, но и как человек, способный направлять работу других, сделав предприятие прибыльным и процветающим.

Маркиз де Шербон остался очень доволен. Он был уже знаком с моим отцом, знал и Жорже из Сен-Патерна, который приходился дядюшкой моей матери, и был уверен, что управление мануфактурой попадет в надежные руки.

Мои родители приехали в Шериньи весной 1749 года, и здесь в сентябре родился мой брат Робер, а три года спустя – второй мой брат, Пьер.

Обстановка там была совершенно не та, что в Брюлоннери. В Шериньи стекловарня находилась в самом поместье знатного землевладельца и состояла из небольшой плавильной печи, окруженной хозяйственными строениями, возле которых ютились домишки работников, – все это сравнительно недалеко от шато. Работников было немного – не более четверти того числа, что было занято в Брюлоннери, и вообще, Шериньи можно было считать семейным предприятием, поскольку маркиз де Шербон вникал во все, что делалось на заводе, хотя сам никогда не отдавал распоряжений.

Мой дядюшка Демере остался в Брюлоннери, а вот брат отца, Мишель Бюссон, переехал вместе с моими родителями в Шериньи, а его сестра Анна вскоре вышла замуж за Жака Вио, мастера-плавильщика в Шериньи. Все члены маленькой общины были тесно связаны между собой, однако различия в их положении по-прежнему соблюдались весьма строго, и мои родители жили отдельно от всех остальных, в фермерском доме, который носил название Ле-Морье и находился примерно в пяти минутах ходьбы от стекловарни. Это не только позволяло им жить обособленно, своей небольшой семьей, чего они были лишены в Брюлоннери, но и ставило их на более высокую ступень иерархии, которая так строго соблюдалась в корпорации стеклоделов.

В то же время для матушки это означало лишнюю работу. Помимо ведения счетов и переписки с торговцами – эти обязанности она взяла на себя, – на ее попечении оказалась еще и ферма: надо было следить, чтобы коров вовремя подоили и выгнали на пастбище, заботиться о птице, наблюдать за тем, как колют свиней, как пашут, сеют и убирают урожай с полей, принадлежащих ферме. Впрочем, все это ее не смущало.

После целого дня хлопот по дому и по хозяйству на ферме она способна была написать письмо на три страницы по поводу цены на партию товара, отправляемого в Париж, потом бежать и варить кофе отцу и остальным мастерам, работающим в ночную смену, вернуться домой, поспать час-другой, а потом встать в пять часов, чтобы присмотреть за утренней дойкой.

То, что она в это время носила, а потом кормила моего брата Робера, ни в малейшей степени ей не мешало. Здесь, в Ле-Морье, она была свободна, могла устроить свою жизнь так, как считала нужным. Здесь некому было следить за ней придирчивым взглядом, осуждать или

обвинять в нарушении традиций или обычаев, а если родственники мужа и осмеливались это делать, то она ведь была женой управляющего и у них быстро пропадала охота повторять свои попытки.

Одним из приятнейших обстоятельств жизни моих родителей при заводе в Шерины была благосклонность к ним маркиза де Шербона и его жены. В отличие от других аристократов того времени, эти последние почти безвыездно жили в своем имении, никогда не бывали при дворе и пользовались любовью и уважением своих арендаторов и крестьян. Маркиза в особенности полюбила мою мать Магдалену: они были приблизительно одного возраста, к тому же де Шербоны поженились всего на два года раньше моих родителей. Когда матушке удавалось улучшить минутку, свободную от домашних или хозяйственных дел, она отправлялась в шато, взяв с собой моего брата, и молодые женщины – моя мать и маркиза – вместе читали, пели или играли, в то время как Робер ползал по ковру у их ног, а потом делал первые неверные шаги, ковыляя от одной к другой.

Мне всегда представлялось важным то обстоятельство, что первыми воспоминаниями Робера – он любил о них рассказывать – были не дом на ферме Ле-Морье, не мычание скотины, квохтанье кур или какие-нибудь другие звуки сельской жизни и даже не рев пламени стекловарной печи, но всегда только громадный салон, как он называл эту комнату, весь в зеркалах, с обтянутой атласом мебелью, с клавикордами, стоящими в уголке, и изящная дама – не матушка, – которая брала его на руки и целовала, а потом кормила сахарным печеньем.

«Ты не можешь себе представить, – говорил он мне, – как живы до сих пор эти воспоминания. Как восхитительно было сидеть на коленях у этой дамы, трогать ее платье, вдыхать запах ее духов! А потом она, бывало, спустит меня с колен и хлопает в ладоши, пока я ковыляю с одного конца огромной – так мне казалось – комнаты до другого. Высокие стеклянные двери выходили на террасу, а от террасы во все стороны шли тропинки, ведущие неведомо куда. У меня было такое чувство, что все это мое: шато, парк, клавикорды и эта прекрасная дама».

Если бы только матушка знала, какое зерно желания она заронила в душу моего брата, во все его существо, зерно, выросшее впоследствии в стремление к знатности и богатству, едва не разбившее сердце моего отца и, конечно же, приблизившее его кончину, она не стала бы так часто брать Робера в шато, где его ласкала и кормила сладостями маркиза. Она оставляла бы его на дворе фермы Ле-Морье, и он играл бы там с курами и поросятами.

Моя мать была виновата. Но могла ли она в то время предвидеть, что это баловство окажет столь губительное влияние на ее первенца, которого она так безумно любила? Что могло быть естественнее, чем воспользоваться гостеприимством доброй и милостивой дамы, маркизы де Шербон?

Надо сказать, матушка ценила дружбу маркизы не только ради удовольствия, которое находила в ее обществе, но и потому, что это позволяло ей замолвить при случае словечко за моего отца, рассказать о его честолюбивых устремлениях, о его надеждах занять со временем такое же положение, какого добился мсье Броссар, – который, разумеется, был крестным отцом Робера, – то есть стать управляющим самого лучшего во всей Франции стекольного завода, а то и нескольких сразу.

«Мы понимаем, что на это потребуется время, – говорила матушка маркизе, – но ведь уже и сейчас, с тех пор как Матюрен стал управляющим в Шерины, поставки товара в Париж увеличились вдвое, и нам пришлось нанять еще работников, а сам наш завод удостоился упоминания в „Торговом календаре“».

Матушка не хвасталась. Это была чистая правда. Стекольный завод в Шерины зарекомендовал себя как самая значительная из «малых мануфактур», как их тогда называли в нашем ремесле, производящих стеклянную столовую посуду, а также бокалы и графины для вина.

Маркиз де Шербон и мсье Броссар, объединив усилия, занялись устройством все новых стекольных мануфактур не только в Брюлоннери, где управляющим был мой дядюшка Демере

совместно с отцом, который работал одновременно и там, и в Шериньи, но и в Ла-Пьере, Кудресье, расположенном в самом сердце лесов Ла-Пьера, и Вибрейе. Это было огромное имение, принадлежавшее одной вдове, мадам ле Гра де Люар. Здесь маркиз де Шербон сделал временным управляющим моего дядю Мишеля Бюссона, который женился на племяннице дядюшки Демере, однако дядя Мишель – отличный гравировщик по хрусталу – оказался никудышным управляющим, и завод в Ла-Пьере начал хиреть и приносить сплошные убытки.

Примерно в это время, где-то между рождением моих братьев Пьера, в 1752 году, и Мишеля, в 1756-м, маркиза де Шербон умерла родами, к великому горю моей матери. Маркиз вскоре снова женился – чего мама никогда не могла ему простить, хотя неизменно сохраняла почтительное к нему отношение, – взяв жену из соседнего с Кудресье прихода. Земли нового тестя соседствовали с его обширными угодьями, принадлежавшими мадам ле Гра де Люар в Ла-Пьере, и маркизу, естественно, не хотелось мириться с тем, что тамошний завод работает в убыток. После многомесячных переговоров между всеми заинтересованными лицами мой отец отважился на решительный и смелый шаг. Взяв в партнеры дядюшку Демере и одного парижского купца, Элюа де Риша, он откупил аренду у маркиза де Шербона и стал таким образом самостоятельным арендатором мадам ле Гра де Люар, которая, к счастью для моих родителей – потомство их разрасталось, – не захотела жить в имении, унаследованном после покойного мужа.

Договор аренды, который входил в силу в День Всех Святых 1760 года, давал моим родителям право использовать в течение девяти лет стекловарню, расположенную в поместье, включая все относящиеся к ней службы, а также рубить и жечь лес, потребный для производства, и жить в шато. За все это им полагалось уплатить восемьсот восемьдесят ливров и в добавление к этому поставить мадам ле Гра де Люар восемь дюжин стаканов, рюмок и бокалов для ее стола. Мой дядя Демере не собирался расставаться с Брюлоннери, мсье Элюа де Риш жил в Париже, и мои родители получили в свое распоряжение огромное шато в Ла-Пьере. Какая перемена после фермерского дома в Ле-Морье и скромного жилища мастера в Брюлоннери!

Мне кажется, тень покойной маркизы де Шербон все еще витала над моей матерью, когда она поднималась в качестве хозяйки по широкой лестнице и открывала одну за другой огромные, расположенные анфиладой комнаты, которыми могла теперь распоряжаться по собственному усмотрению. Для себя и мужа она выбрала просторную спальню, которая смотрела окнами в парк, переходящий в бескрайний лес. Она знала, что здесь будут расти ее дети, которые смогут свободно бегать и играть где им заблагорассудится, как это делали дети живших здесь прежде сеньоров. У них будет даже больше свободы, ибо ее не стеснят ни пудренные камердинеры, ни лакеи, ни повара, которые могли бы им что-нибудь запретить, ведь за порядком будет следить только она сама да две-три женщины, жены работников стекловарни, которых она решила нанять себе в помощь. Половина комнат в шато оставались нежилыми, мебель там была покрыта чехлами от пыли, но в них далеко не всегда царило безмолвие, мои братья с криками бегали по всему дому, гонялись друг за другом по огромным комнатам, уставленным мебелью, аукались в коридорах, залезали даже на чердак под массивной крышей.

Для Робера, в то время уже десятилетнего мальчугана, Ла-Пьер стал воплощением всех его мечтаний и даже превзошел их. Он не только жил в шато, которое было больше и роскошнее Шериньи, – дом принадлежал его родителям, они были там хозяевами; по крайней мере, так считал Робер. Он ухитрился тем или иным способом завладеть ключом от парадной залы, сняв его со связки матери, и забирался туда потихоньку от всех. Откинув полотняный чехол, он усаживался в парчовое кресло и воображал, что пустая безмолвная комната полна гостей, а сам он – созвавший их хозяин.

У Пьера и Мишеля таких фантазий не водилось. Под самыми окнами их комнаты начинался лес, и им ничего больше не требовалось, в особенности Пьеру. В отличие от уютных роцц и перелесков Шериньи, пересеченных широкими дорожками, здешние леса были густы, суровы

и даже опасны, они простирались насколько хватало глаз, если смотреть из окна сторожевой башни шато. Там водились дикие кабаны и, возможно, даже разбойники. Пьер постоянно попадал во всякие переделки: он забирался на самые высокие деревья и падал оттуда; его постоянно приходилось переодевать, так как он то и дело оказывался в воде, свалившись в какой-нибудь ручей; приносил домой птиц, летучих мышей, хомяков и лис, прятал их в пустых комнатах и пытался приручить, вызывая тем самым немалый гнев матушки.

Здесь, в Ла-Пьере, матушка была хозяйкой стекловарни, а также хозяйкой и хранительницей шато. Она отвечала не только за благополучие всех работников и их жен – коих насчитывалось не менее сотни, не считая углежогов, живших в лесах, – но также за целостность и сохранность всего того, что находилось в пределах шато. Шалости сыновей отнюдь не облегчали эту задачу, хотя Робер обучался французскому языку и латыни – благодаря рекомендации мсье Броссара и маркиза де Шербона ему давал уроки кюре из Кудресье, у которого в то же самое время обучался сын мадам ле Гра де Люар. У моей матери умерли в младенческом возрасте двое детей, мальчик и девочка, и только после этого, в 1763 году, родилась я, а вслед за мной, через три года, – моя сестра Эдме. Она стала последним прибавлением в нашем дружном семействе, где все были очень привязаны друг к другу – старшие братья попеременно то дразнили, то ласкали младших сестреночек.

Если порой и возникали разногласия между родителями и детьми, то причиной обычно служило заикание моего брата Мишеля. Мы с сестрой не знали того времени, когда он не заикался, и не придавали никакого значения запинкам в его речи, думая, что так и должно быть, но матушка рассказала нам, что заикаться он стал после того, как появились на свет его маленькие сестренка и братишка – Франсуаза и Проспер. Они родились один за другим и вскоре же умерли, когда Мишелю было года четыре-пять.

Произошло ли это оттого, что малыш видел, как они родились, как мать кормила их грудью и как они внезапно исчезли, причинив матери большое горе, или была какая-то другая причина, сказать никто не мог. Дети не говорят о таких вещах. Возможно, Мишель боялся, что исчезнет, как исчезли они, и с ними вместе пропадет все, что он знает и любит на свете. Во всяком случае, он стал сильно заикаться приблизительно в это время, вскоре после того как родители переселились в Ла-Пьер, и они ничего не могли сделать, для того чтобы он излечился. Мишель был необычайно умен, у него были блестящие способности, если не считать этого недостатка, и мои родители, особенно отец, приходили в отчаяние, глядя, как сын бьется, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, словно подражая судорогам, сопровождавшим смерть несчастных младенцев.

«Он делает это нарочно, – строго говорил отец. – Он может говорить совершенно правильно, если только пожелает». Отец отсылал Мишеля прочь из комнаты, давая ему книгу, с тем чтобы мальчик выучил наизусть большой кусок из нее, а потом ответил без запинки. Однако это ни к чему хорошему не приводило. Мишель упрямялся и бунтовал, а иногда убегал и скрывался на долгие часы, отсиживаясь у углежогов, которые охотно давали ему приют. Им-то было безразлично, заикается он или нет, они забавлялись, обучая его всяким грубым простонародным словечкам, чтобы посмотреть, как он их выговаривает.

Мишеля, разумеется, за это наказывали. Отец был очень строгим воспитателем, но матушка иногда заступалась за мальчика, и тогда ему позволяли пойти с отцом в стекловарню и смотреть, что там делается и как идет работа, – а это ему нравилось больше всего на свете. Мы с сестрой Эдме были значительно младше братьев, и наша жизнь шла совершенно иначе. С нами, девочками, отец всегда был ласков и нежен, сажал нас к себе на колени, привозил нам подарки, когда ему случалось ездить в Париж, смеялся и пел вместе с нами, участвовал в наших играх – словом, мы были для него единственным развлечением, с нами он отдыхал от трудов и забот.

С мальчиками все было по-иному. Они должны были вставать, когда отец входил в комнату, не смели сесть, пока не сядет он, и за столом помалкивали – им разрешалось только отвечать, когда к ним обращались. Когда в свой черед братья становились подмастерьями в стекловарне, они были обязаны выполнять все правила. С них спрашивали строже и заставляли работать больше, чем сыновей других мастеров, – подметать, например, пол в мастерской и делать другую черную работу.

Мой брат Робер, несмотря на то что он получил великолепное образование под руководством доброго кюре из Кудресье, не возражал против столь сурового обращения. Он хотел стать таким же мастером-стеклодувом, как и его отец, даже лучше, как мсье Броссар, у которого было много друзей среди аристократии; а для того чтобы этого добиться – знал он, – требовалось начинать с самого низа.

Того же хотел и Мишель. Он, правда, бунтовал против отца, однако не гнушался никакой работой, и чем тяжелее и грязнее она оказывалась, тем для него было лучше. Ему нравилось находиться среди мастеровых, работать вместе с ними, и никогда он не был так счастлив и доволен, как когда возвращался домой прямо от печи, в прожженной, покрытой пятнами блузе, ибо это означало, что он отстоял смену наравне с товарищами и все у него ладилось – или не ладилось – так же, как и у них.

Труднее всего отцу приходилось с Пьером – это был покладистый парень, но большой шалопай, его не удавалось хоть чему-нибудь научить. Пьера, конечно, тоже определили в стекловарню подмастерьем, однако он то и дело норовил оттуда удрать – собирал в лесу землянику или просто бродил где придется и возвращался когда ему вздумается. Наказывать его было бесполезно. И розги, и похвалы он принимал с одинаковым равнодушием.

«Пьер просто бездельник, – говорил наш отец, пожимая плечами, когда речь заходила о среднем сыне. – Он никогда ничего не добьется в жизни. Если уж ему так нравится болтаться по лесам, пусть отправляется в Америку, в колонии, и живет там».

Пьеру в это время было лет семнадцать, и отец, имевший весьма широкие деловые связи, устроил так, что сына отправили на Мартинику к одному богатому плантатору. Мне тогда было шесть лет, и я отлично помню отчаяние и слезы во всем доме – ведь все три брата были так привязаны друг к другу, – а также поджатые губы и молчание матушки, когда она укладывала в дорожный сундук вещи Пьера, гадая, увидит ли еще когда-нибудь своего сына. Даже отец, когда настал час расставания, казалось, испытывал огорчение и сам проводил Пьера в Нант, где брат должен был сесть на корабль. Отец посылал с ним довольно большую партию стекла не особенно высокого качества, с тем чтобы Пьер мог его продать и составить себе таким образом небольшой капитал.

Без Пьера в доме стало очень скучно. Его веселый нрав и забавные выходки оживляли нашу жизнь, которая порой казалась несколько мрачноватой нам с Эдме, двум маленьким девочкам, предоставленным самим себе, поскольку братья работали в мастерских, а мать была постоянно занята либо счетами и торговыми книгами – на ней по-прежнему лежала вся деловая часть отцовского предприятия, – либо хлопотами по хозяйству. Вскоре, однако, мы забыли о Пьере, ибо в следующие месяцы произошли два события, которые запечатлелись в моей памяти как некие поворотные моменты.

Первое из них заключалось в том, что мой брат Робер, отбыв положенные три года подмастерьем, стал мастером-стеклодувом. Вторым же событием был визит короля на нашу стекловую мануфактуру в Ла-Пьере. Оба они относились к 1769 году.

Первое пришлось на одно из воскресений в июне. В два часа дня все мастера и работники в праздничной одежде собрались, ожидая прибытия музыкантов. Накануне матушка и другие жены мастеров накрыли в стекловарне длинные деревянные столы – праздник состоялся в перерыве между «топками», как мы их называли, и печь на некоторое время остыла, – и теперь столы были уставлены яствами для всех работников стекловарни, а также для гостей.

Приглашенных было довольно много. Пришли, разумеется, все наши родственники, торговцы и мануфактурщики, с которыми отец вел дела; помимо них были приглашены мэр Кудресье, балли, егеря и лесничие имения и все женщины и дети, жившие по соседству.

Выстроилась длинная процессия, во главе которой встали музыканты, за ними – два старших мастера, мой дядя Мишель и еще один гравер, а между ними – будущий мастер, мой брат Робер; далее, строго по старшинству, следовали все члены нашего стекольного «дома». Первыми шли наши мастера, за ними – пришлые, работающие по найму, и возчики-комиссионеры, потом кочегары, подмастерья и, наконец, женщины и дети. Шествие началось от стекловарной печи, проследовало через двор, потом через огромные ворота в парк и подошло к самому шато, где ожидали отец и матушка вместе с кюре, мэром и остальными важными персонами.

Здесь состоялась краткая церемония. Новый мастер принес клятву, получил благословение кюре, после чего произносились речи. Затем вся процессия повернула назад и возвратилась в мастерскую. Помню, когда мой брат Робер произносил клятву, я случайно взглянула на матушку и заметила у нее на глазах слезы.

У отца и матери в честь такого события были напудрены волосы – вероятно, они считали, что представляют отсутствующее семейство ле Гра де Люар. Матушка была в парчовом платье, отец – в атласных панталонах.

– Из него получится прекрасный человек, – шепнул кюре моему отцу, когда процессия приближалась к дому и они готовились ее встретить. – Я возлагаю большие надежды на его способности и надеюсь, что вы разделяете мое мнение.

Отец ответил не сразу. Он тоже был глубоко тронут, глядя на то, как его старший сын готовится принести клятву, которую он сам приносил двадцать лет тому назад.

– Что-нибудь да получится, – сказал отец, – если, конечно, он не потеряет голову.

Смысл этих слов был для меня непонятен. Я не видела никого и ничего, кроме Робера, который казался мне, его шестилетней сестренке, самым замечательным человеком во всей процессии. Высокий, стройный, светловолосый – матушка в последний момент помешала ему напудрить волосы, – он, как мне казалось, просто не мог что-то потерять. Держался он очень прямо и подошел к ступеням шато с таким гордым видом, словно ему предстояло стать по меньшей мере маркизом, а не простым мастером-стеклодувом.

Обряд принесения клятвы сопровождался взрывами рукоплесканий и приветствий. Робер поклонился всем собравшимся – гостям и всей этой толпе мастеров, работников с их женами и детишками, и я заметила, что он бросил быстрый взгляд в сторону моей матери Магдалены, взгляд гордый и вызывающий, словно он хотел сказать: «Именно этого ты от меня ждала, ведь правда? Мы оба этого желали». Мне показалось, что она кивнула в ответ, не только моему брату, но и самой себе. Высокая, прекрасная в своем великолепном парчовом наряде, странно изменившаяся благодаря напудренным волосам, она казалась мне, шестилетней девочке, чем-то большим, чем просто мать, каким-то божеством, казалась более могущественной, чем даже статуя Пресвятой Девы, что стояла в церкви в Кудресье, равной самому Богу.

Второе событие произвело на меня совсем иное впечатление, вероятно, потому, что в нем моим родителям была отведена второстепенная роль. Придя однажды вечером домой, отец торжественно сообщил: «Мы удостоены высокой чести. Король, который охотится в наших краях, в лесах Вибрейе, изъявил желание посетить стекольный завод в Ла-Пьере».

Все в доме пришли в страшное волнение. Король... Что он скажет? Что сделает? Чем его нужно угощать, как развлекать? Матушка сразу же стала готовить парадные покои, которыми до этого времени никто не пользовался, и всех женщин, находившихся в поместье и на заводе, тут же отрядили мыть, чистить, мести и наводить блеск. Но потом, за несколько дней до появления короля, прибыла мадам ле Гра де Люар вместе с сыном, с тем чтобы лично приветствовать его величество в своем доме.

– Совершенно естественно, – заявила она моей матери (я была рядом и слышала все, от слова до слова), – что такое великое событие – сам король удостоивает посещения наш дом – требует нашего с сыном присутствия. Я не сомневаюсь, что вы и ваша семья найдете себе пристанище на это время.

– Разумеется, – ответила матушка, которая, сказать по правде, втайне рассчитывала выступить в роли хозяйки поместья. – Я надеюсь, что вы найдете дом в должном порядке. Правда, времени у нас было не очень много, нас предупредили совсем недавно.

– О, об этом не беспокойтесь, – ответила мадам ле Гра де Люар, – прислуга сделает все, что надо.

А потом прибыли кареты и целая вереница самых разнообразных телег и повозок, доставив армию лакеев, поваров, поварят и судомоек. Они распоряжались в доме как хозяева – перевернули все вверх дном в кухне, сорвали с постелей покрывала и постелили новые, что привезли с собой, а с матушкой разговаривали так, словно она нерадивая прислуга, которую только что рассчитали. Нас попросту выгнали из дома, мы только и успели, что снести все наши вещи в одну комнату, повернуть ключ в замке, и сразу же отправились через двор к моему дяде Мишелю просить, чтобы они с женой нас приютили.

– Этого следовало ожидать, – спокойно сказал отец. – Мадам ле Гра де Люар имела полное право так поступить.

– П-п-право? – с трудом выговорил Мишель, которому в то время было лет четырнадцать. – Какое п-право имеет эта п-п-проклятая старуха выгонять нас из дома?

– Придержи язык, – строго приказал ему отец, – и запомни, что мы всего лишь арендуем шато Ла-Пьер. Ни дом, ни завод никогда нам не принадлежали и принадлежать не могут.

Бедный Мишель был просто ошарашен. Он, наверное, считал, как и я сама, что мы хозяйка Ла-Пьера, что это наша собственность на вечные времена. Брат страшно побледнел, как это всегда с ним случалось, когда он сердился и не мог выговорить какое-нибудь слово, и отправился в стекловарню, чтобы растолковать происшедшее друзьям-кочегарам.

Единственным из всей семьи, кто всей душой с нетерпением ждал приезда короля, был мой старший брат Робер. Ему предстояло вместе с другими мастерами познакомить короля с искусством стеклодувов, ибо тот, как сказал нам отец, выразил желание наблюдать все стадии изготовления изделия – с того момента, как на конце трубки образуется пузырь из жидкого стекла, и до того, как на готовую вещь наносится гравировка – это делали мой отец и дядя Мишель.

Наконец великий день наступил. Все мы поднялись ни свет ни заря, меня и мою сестру Эдме нарядили в самые лучшие наши белые платица. А вот мама, к великому моему разочарованию, не стала наряжаться в свое красивое парчовое платье, а надела обычное темное воскресное, оживив его только кружевным воротничком. Я собиралась возражать, но она не дала мне вымолвить ни слова. «Пусть другие рядятся в павлиньи перья, если им это по нраву, – сказала она. – Я чувствую себя более достойно в своем обычном наряде».

Я никак не могла понять, почему она надевала роскошный туалет из парчи ради моего брата и удовольствовалась воскресным платьем для встречи короля. Но отец, по-видимому, одобрил это, ибо кивнул, когда увидел ее, и заметил: «Так лучше».

Но я все-таки была с этим не согласна. И вдруг, не успели мы опомниться, как к нам нагрянуло все общество из шато. Мадам ле Гра де Люар подъехала к воротам парка в своей карете, сын сопровождал ее верхом, а с ним – еще множество всадников, в том числе несколько дам, все в охотничьих костюмах, которые, как мне показалось, пребывали в некотором беспорядке. Вокруг ехали грумы и егеря. Совсем иначе представляла я себе королевский кортеж.

– Король, – шепотом обратилась я к матери, – где же король?

– Тише, – прошептала она. – Вон он, слезает с лошади, разговаривает с мадам ле Гра де Люар.

Я чуть не расплакалась от разочарования: как, этот пожилой господин, перед которым мадам ле Гра де Люар присела в глубоком реверансе? Он же ничем не отличается от остальных. На нем охотничья куртка и панталоны, и парик даже не завит. Возможно, утешала я себя, это потому, что он весь день провел на охоте, а его парадный парик возят в специальном сундучке. Оглядев толпу женщин – жен мастеров и работников, которые собрались, чтобы его приветствовать, король небрежно помахал им рукой и усталым голосом обратился к хозяйке: «Мы все рано позавтракали и умираем с голода. Где мы обедаем?»

Таким образом, против первоначальных намерений, посещение мастерских, которое прежде стояло на первом месте, отложили. Мигом отдали приказания и изменили весь ход работы у печи, хотя это было нелегко и крайне неудобно, а король вместе с гостями проследовал в шато обедать на добрые три часа раньше, чем предполагалось. Мне потом передавали, что мадам ле Гра де Люар настолько растерялась, что ей пришлось принимать сердечные капли, и я подумала: так ей и надо, она это заслужила, за то, что грубо разговаривала с мамой. Работники, занятые у печи, прождали несколько часов, пока король со свитой соизволил вернуться в мастерские, хорошо отдохнув и сытно подкрепившись. У нас же в животах было пусто. Гости, пришедшие в отличное настроение, смеялись и болтали, дамы то и дело восторженно вскрикивали при виде того или другого, но тут же отвлекались на что-нибудь третье; создавалось впечатление, что они не понимают решительно ничего.

Матушку представили королю, который отпустил через плечо какое-то замечание, обращаясь к одному из приближенных, – мне кажется, речь шла о ее росте, она ведь была значительно выше его, – а потом все пошло дальше, а мы – следом, чтобы посмотреть, как работает Робер, как он управляется со стеклодувной трубкой. Он проделал все с необыкновенным изяществом, поворачивая трубку то так, то эдак, вертя ее в руках небрежно, словно вокруг никого не было и никто на него не смотрел, но я-то прекрасно знала, что он видит и короля, стоявшего в двух шагах от него, и дам, которые им любят.

«Какое великолепное зрелище!» – восхитилась одна из них, и даже я, в свои шесть лет, понимала, что она имеет в виду не трубку и не то, что с ней делал Робер, но самого моего брата. А потом случилась ужасная вещь. Мой брат Мишель, который стоял позади, в толпе подмастерьев, ступил вперед, чтобы получше рассмотреть королевскую свиту, и, поскользнувшись, растянулся во весь рост у самых ног короля. Красный от стыда, он поднялся на ноги, но король добродушно похлопал его по плечу: «Постарайся, чтобы такого с тобой не случилось, когда сделаешься стеклодувом. Ты давно здесь работаешь?»

И тут случилось неизбежное. Бедняга Мишель пытался что-то сказать, но не мог выговорить ни слова – все его попытки справиться с собой оказались тщетными. Он ловил ртом воздух, брызгал слюной, голова его дергалась при каждом звуке, вылетавшем из горла, как всегда, когда он нервничал, и все высокие гости стали смеяться.

«Этому малому следует побережь горло для стеклодувной трубки», – пошутил король среди всеобщего веселья и двинулся дальше – знакомиться со следующим этапом работы. Я заметила, что один из подмастерьев постарше оттеснил брата назад, туда, где стояли все остальные, чтобы спрятать его за спинами товарищей.

Все остальное было для меня безнадежно испорчено. Мне даже не хотелось смотреть, как дядя Мишель будет наносить гравировку на готовый бокал, хотя обычно это зрелище доставляло мне огромное удовольствие. Ничто не могло загладить тот стыд, который пришлось терпеть бедному брату, и когда мой отец протянул королю кубок, взяв его из груды изделий, изготовленных в тот знаменательный день на глазах у гостей, – на кубке были выгравированы вензель короля и королевские лилии, – я готова была пожелать, чтобы хрупкий сосуд упал на пол и разбился вдребезги.

Но вот все было кончено. Король со свитой покинули стекловарню, дамы и кавалеры снова сели на лошадей у ворот шато, и мы проводили их взглядами, наблюдая, как они скрыва-

ются в лесу, направляясь в сторону Сомюра. Усталая и огорченная, тащилась я вслед за мамой к дядиному дому. Эдме уже спала у нее на руках. Вскоре пришли отец, дядя и братья; на лицах взрослых было написано облегчение: слава богу, тяжкое испытание наконец позади!

– Все сошло хорошо, – с удовлетворением заметил отец. – Король был чрезвычайно милостив. Ему, должно быть, понравилось то, что он видел.

– Вот уж не думал, что буду гравировать бокал для самого короля, – признался дядя Мишель, застенчивый человек, который ни о чем, кроме своей работы, и не помышлял. – Этот день я запомню на всю жизнь.

– Совершенно верно, – поддержал отец, оборачиваясь к сыновьям. – Сегодня мы были удостоены великой чести и не должны этого забывать. – Он взял в руки один из бокалов и осмотрел его. – Это лучшее из того, что до сих пор нам удавалось сделать, Мишель, – обратился он к дяде. – Мы должны быть довольны. Если и ты, Робер, создашь со временем что-нибудь подобное, у тебя будут все основания испытывать удовлетворение. Я предлагаю сохранить этот бокал, этот кубок как семейный талисман, и если он не принесет нам славы и богатства, то будет, по крайней мере, напоминать следующим поколениям о нашем мастерстве. Когда женишься, Робер, можешь передать его своим сыновьям.

Робер в свою очередь внимательно осмотрел кубок. Все это, по-видимому, произвело на него сильное впечатление.

– Человек несведущий, – заметил он, – легко может принять вензель короля за первые буквы фамильного девиза. Хотя бы и нашего собственного. Но нам, я думаю, никогда не удостоиться такой чести.

Он вздохнул и возвратил кубок отцу.

– Мы не нуждаемся ни в каких девизах. Свидетельство нашей чести – это то, что мы, Бюссоны, создали своими руками. Подойди ко мне, Мишель. Разве тебе не хочется прикоснуться к бокалу на счастье? – Он протянул руку к младшему сыну, словно желая передать ему драгоценный сосуд, но Мишель отпрянул, яростно тряся головой:

– К-какое счастье? Он может мне п-принести только несчастье. Я не хочу к нему п-прикасаться.

Он резко повернулся и выбежал из комнаты. Я ударилась в слезы и бросилась было за ним, но матушка остановила меня.

– Оставь его, – спокойно сказала она. – Он только еще больше расстроится.

Она рассказала о том, что произошло в мастерской, отцу и дяде, которые не видели случившегося.

– Очень жаль, – заметил отец. – И тем не менее Мишель должен научиться владеть собой.

Он обернулся к дяде и заговорил с ним о другом, но я слышала, как Робер прошептал матери:

– Мишель – идиот. Он должен был тут же обратить все в шутку и рассмешить короля, чтобы тот смеялся вместе с ним, а не над ним. Сделай он так, все были бы довольны, включая его самого, и это стало бы самым ярким мгновением королевского визита.

Мать не разделяла этого мнения.

– Не каждый из нас, – проговорила она, – обладает твоей способностью что угодно обернуть себе на пользу.

Она, конечно, заметила, как брат принимал картинные позы, орудуя трубкой, слышала восхищенные возгласы дам из королевской свиты. Несмотря на неприятность с Мишелем, кубок все-таки принес нам счастье, что подтвердилось на следующий же день.

Мадам ле Гра де Люар отбыла из шато вместе со всеми своими слугами, и едва только улеглась пыль, поднятая колесами ее кареты, со стороны Кудресье показалась повозка совсем другого рода, направлявшаяся к нашим железным воротам. Это был увешанный кастрюлями и горшками фургон бродячего торговца – из тех, что разъезжают по округе, главным образом

между Ферт-Бернаром и Ле-Маном, а рядом с возницей сидел, или, вернее, стоял, радостно размахивая руками, человек – знакомая фигура в пестром камзоле и пунцовом жилете, – на каждом плече у него сидел отчаянно орущий попугай. Это был мой брат Пьер. Отец, который был вместе с нами, так и застыл на месте, не в силах пошевелиться.

– Откуда, скажи на милость, ты явился? – строго крикнул он, когда брат выскочил из фургона и подбежал к нам.

– С Мартиники, – отвечал Пьер. – Там слишком жарко. Я не мог этого выносить и решил, что лучше уж, в конце концов, жариться у печи и дуть стекло.

Он подошел, чтобы обнять нас, но, как ни были мы счастливы его видеть, нам пришлось отступить назад из-за его страшных попугаев.

– Насколько я понимаю, – сказала мать, – та партия товара, которую дал тебе отец, не принесла богатства?

Пьер улыбнулся.

– Я не стал его продавать, – сознался он. – Я все это роздал.

Бродячий торговец помог Пьеру вытащить из фургона сундучок, и брат, несмотря на возражения отца, открыл его тут же, на месте. Он не привез с Мартиники ничего ценного – одни только жилеты, целую кучу пестрых жилетов, которые там выделяют прямо на базарах, для каждого члена семьи.

Глава третья

К тому времени как мне сравнялось тринадцать лет, у моего отца под началом было уже четыре стеклоvarни. Он смог продлить аренду в Ла-Пьере, по-прежнему работал в Брюлон-нери и Шериньи и, кроме того, взял на себя мануфактуру в Шен-Бидо, что расположен между Монмирайлем и Плесси-Дореном. Здесь, так же как и в Ла-Пьере, владелец предприятия, мсье Пезан де Буа-Жильбер, сдал его в аренду моему отцу, предоставив ему полную свободу действий и не вмешиваясь в дела. Сам он жил в своем шато в Монмирайле.

Стеклоvarня в Шен-Бидо, так же как и Ла-Пьер, скрывалась в гуще лесов; это было сравнительно небольшое предприятие – всего-то одна печь. Хозяйский дом и ферма прилегали непосредственно к ней, а лачуги работников лепились, вытянувшись в линию, с другой стороны.

Скромный, несколько даже примитивный, Шен-Бидо значительно отличался от грандиозного Ла-Пьера, окруженного великолепным парком; однако матушка с самого начала любила его и сразу же стала приводить в порядок хозяйский дом, желая сделать его подобающим и достаточно удобным жилищем для Робера, с тем чтобы он занял место мастера-управляющего при отце и начал набираться опыта на будущее.

Шен-Бидо находился в каком-нибудь часе езды от Ла-Пьера, и для меня было огромным удовольствием поехать туда вместе с матушкой на два-три дня, чтобы посмотреть, как идут дела у Робера.

Он к этому времени превратился в удивительно красивого молодого человека с прекрасными манерами. Отец мой, бывало, говорил, что манеры брата слишком уж хороши и, если тот не поостережется, его станут принимать за лакея. Робер всякий раз сердился и раздражался. «Отец совсем не бывает в приличном обществе и ничего не понимает в современных манерах, – жаловался он мне после очередной перепалки. – Если сам он имеет дело исключительно с купцами, работниками и мастерами, это не значит, что и я должен делать то же самое, ограничившись обществом одних только стеклодувов. Как он не понимает, что, вращаясь в более изысканных кругах, я получу гораздо больше заказов на наш товар, чем когда-либо удавалось добыть ему?»

Когда брат работал в Ла-Пьере и отец куда-нибудь отлучался, Робер при каждом удобном случае уезжал в Ле-Ман, где жизнь в то время была ключом; то и дело давались балы, выступали заезжие музыканты и артисты, и многие аристократы, которые обычно проводили время в Версале, считали нужным – это стало модным – держать открытый дом в провинции. Они принимали гостей в своих замках и особняках, соревнуясь друг с другом в том, чей салон самый блестящий. В те годы в моду вошли масоны, и, хотя я не скажу точно, тогда ли брат вступил в ложу или несколько позже, он постоянно меня уверял, что занимает твердое положение среди «вольных каменщиков» и что, если он выйдет из-под опеки отца и станет жить самостоятельно, ему будет легче уезжать и встречаться с друзьями всякий раз, как захочется. Матушка, естественно, ничего об этом не знала. Робер всегда был на месте, когда мы приезжали к нему с визитом, и она тут же погружалась с головой в дела стекольного «дома» – приводила в порядок конторские книги, хлопотала на ферме, заботилась о том, чтобы работники, их жены и дети ни в чем не терпели нужды. К тому же Робер стал отличным мастером, и она с гордостью отмечала высокое качество изделий, которые каждую неделю отправлялись в Париж.

Я не знала большей радости, чем быть поверенной тайн Робера, без конца выслушивать рассказы о его любовных делах и различных эскападах. В награду за это он давал мне уроки истории и грамматики, ибо наш отец считал, что поскольку нам с Эдме предстоит выйти замуж, скорее всего, за человека нашего круга, то есть ремесленника-стеклодува, то нас не-за-чем и учить, достаточно обычного домашнего воспитания.

– Он глубоко ошибается, – возражал Робер. – Каждая молодая женщина должна уметь себя вести и знать, как следует держаться в обществе.

– Ну, это смотря какое общество, – отвечала я, хотя всем сердцем желала учиться. – Возьми, например, тетюшку Анну из Шериньи. Ни она, ни ее муж Вио не умеют толком подписаться и тем не менее прекрасно живут.

– Несомненно, – говорил Робер. – Так и проведут всю свою жизнь в Шериньи, никуда оттуда не двинутся. Подожди, вот будет у меня собственное дело в Париже, приедешь в гости. Как же я смогу представить свою сестру обществу, если она будет недостойна меня?

Стекольный завод в Париже... Какие смелые мечты! Что подумали бы родители, знай они об этом?

Робер тем временем продолжал управлять мануфактурой Шен-Бидо без особых осложнений, и вскоре к нему присоединился Пьер, который получил звание мастера. Я подозревала, что это устроил Робер, для того чтобы беспрепятственно отлучаться всякий раз, когда ему вздумается «показаться в обществе», но ни отец, ни мать, разумеется, не имели об этом ни малейшего понятия.

В голове у Пьера тоже бродили новые идеи, но совершенно другого рода. Вернувшись с Мартиники, он постоянно рассказывал о бедственном положении туземцев, о тех страданиях, которые они испытывают. Он стал много читать, без конца цитировал Руссо и неустанно повторял: «Человек рожден свободным, но повсюду скован цепями», – к великому раздражению отца. «Если уж тебе пришла охота заниматься философией, – говорил он, – читай, по крайней мере, каких-нибудь достойных авторов, а не этого негодяя, который наплодил незаконных детей и отдал их всех в приют».

Однако разубедить Пьера было невозможно. Каждым государством, заявлял он, надлежит управлять в соответствии с теориями Жан-Жака, на благо всех в нем живущих, без всякого различия. Мальчикам нужно давать «естественное» воспитание на природе, их не следует ничему учить, пока они не достигнут пятнадцати лет.

«Как жаль, – вздыхал отец, – что ты не остался на Мартинике и не сделался туземцем! Такая жизнь подошла бы тебе больше, чем та, которую ты ведешь здесь, – посредственного мастера стекольных дел».

Сарказм, заключенный в этих словах, не произвел на Пьера никакого впечатления. Он постоянно чем-нибудь увлекался, заражая своими идеями Мишеля, то и дело выступал в их защиту, и отец, который смолodu считался человеком просвещенным и был известен своими химическими и научными изобретениями, не мог понять, что происходит с его сыновьями.

Матушка относилась к этому более спокойно. «Они молоды, – говорила она. – Молодые люди всегда носятся с какими-то фантазиями. Это у них пройдет».

Однажды Робер прискакал в Ла-Пьер – якобы для того, чтобы обсудить кое-какие дела, касающиеся обоих заводов, а в действительности – чтобы под большим секретом посвятить меня и Пьера в свою новую затею, о которой не должен был знать никто, кроме нас двоих.

– Я поступил в аркебузиры, полк избранных, – сообщил мне он в чрезвычайном возбуждении. – На время, разумеется. Однако это означает, что в течение трех месяцев я буду проходить службу в Париже. Меня уговорили друзья из Ле-Мана, и я получил необходимые рекомендации. Самое главное вот что: во время моего отсутствия нужно как-то удержать отца от поездок в Шен-Бидо.

Я покачала головой:

– Это невозможно. Он обязательно узнает.

– Нет, – уверял меня Робер. – Пьер поклялся молчать, и все работники – тоже. Если отец все-таки приедет в Шен-Бидо, ему скажут, что я отправился в Ле-Ман по каким-нибудь делам. Он ведь никогда не задерживается там больше чем на день-два.

Следующие несколько недель я делала все возможное и невозможное для того, чтобы стать необходимой отцу. По утрам шла вместе с ним к печи, дожидаясь его возвращения после конца работы и делала вид, что меня очень занимают дела мастерской. Отец был польщен и в то же время удивлялся, говоря, что я делаюсь разумной девицей и что со временем из меня выйдет отличная жена для хозяина стекольного «дома».

Мой замысел осуществился столь успешно и отец получал такое удовольствие от моего общества в Ла-Пьере, что за все это время ни разу не побывал в Шен-Бидо. Но однажды, незадолго до того, как Робер должен был вернуться, когда мы все сидели за ужином, отец посмотрел на меня и спросил:

– Как ты смотришь на то, чтобы поехать со мною в Париж? Нанести, так сказать, первый визит в столицу.

Я сразу же подумала, что все открылось и это просто уловка, чтобы заставить меня проговориться. Я быстро посмотрела на матушку, но она только ободряюще улыбнулась:

– Почему бы и нет? – Она кивнула отцу. – Софи уже достаточно взрослая. Она вполне может тебя сопровождать. И у меня будет спокойнее на душе, если она поедет с тобой.

Родители постоянно делали вид, что отца опасно отпускать одного в столицу. Это была их обычная шутка.

– Я, конечно, поеду с огромным удовольствием, – ответила я, снова обретая уверенность.

Эдме тут же потребовала, чтобы и ее взяли тоже, однако матушка проявила твердость:

– Со временем придет и твой черед. Если будешь хорошо себя вести, мы с тобой поедem в Шен-Бидо навестить Робера, пока отец и Софи будут в Париже.

Этого мне как раз совсем не хотелось, но тут уж ничего нельзя было поделать, и я не вспоминала о своем беспокойстве, когда сидела два дня спустя рядом с отцом в дилижансе, который направлялся в столицу. Париж... Мой первый визит... А я всего-навсего невежественная деревенская девчонка, которой не было еще и четырнадцати лет и которая видела в своей жизни всего один город – Ле-Ман. Мы находились в дороге часов двенадцать, а может быть, и больше – выехали ранним утром, а когда подъезжали к столице, было уже, вероятно, часов шесть или семь, и я сидела, прижавшись носом к оконному стеклу, полуживая от усталости и волнения.

Стоял, как мне помнится, июнь, над городом висела теплая дымка, повсюду было разлито ослепительное сияние, деревья уже оделись пышной листвой, на улицах толпилось множество людей, и длинные вереницы экипажей катили по мостовой, возвращаясь в Версаль после скачек. Людовик Шестнадцатый и его молодая королева Мария-Антуанетта были коронованы всего год назад, однако при дворе, как рассказал мне отец, уже произошли изменения: прежний строгий тон был забыт, королева ввела моду на балы и оперу, а брат короля, граф д'Артуа⁷, вместе со своим кузеном герцогом Шартрским соперничали в новом спортивном увлечении, столь популярном в Англии, – скачках. Возможно, думала я, нетерпеливо выглядывая из окна экипажа, и мне посчастливится увидеть какого-нибудь герцога или герцогиню, возвращающихся со скачек. Может быть, эти молодые кавалеры, которые пробираются сквозь толпу на площади Людовика Пятнадцатого перед Тюильрийским дворцом, и есть братья короля? Я указала на них отцу, но он только рассмеялся: «Это лакеи или парикмахеры. Все они обезьянничают, подражают своим господам. Разве можно увидеть принца крови среди толпы, да еще пешим?»

Дилижанс высадил нас на улице Буле. Здесь царили суета и неразбериха и не попадалось на глаза никого, кто мог бы зваться кавалером или хотя бы парикмахером. На узких улицах скверно пахло, иногда посреди дороги шла широкая сточная канава, в которой текли помои и копились всякие отбросы; многочисленные нищие протягивали руки за подаванием. Я помню страх, внезапно охвативший меня, когда отец отвернулся, чтобы распорядиться насчет нашего

⁷ Граф д'Артуа (1757–1836) – младший брат Людовика XVI, будущий король Франции Карл X (1824–1830).

багажа. В тот же миг между нами протиснулась какая-то женщина с двумя босоногими ребятишками, которая требовала денег. Когда я отшатнулась, она погрозила мне кулаком и выругалась. Это был не тот Париж, который я ожидала увидеть, Париж, где царят сплошное веселье и смех, где люди ездят в оперу и горят яркие огни.

Отец имел обыкновение останавливаться в гостинице «Красная лошадь» на улице Сен-Дени, возле церкви Сен-Лё и главного рынка. Туда он меня и отвел, и там мы жили все три дня нашего пребывания в Париже.

Должна признаться, я была разочарована. Мы почти не выходили из гостиницы, где постоянно толпились люди – беднейшие из бедных – и скверно пахло, а если и выходили, то только в лавки и на склады, куда отца призывали дела. Раньше я считала, что наши углежог из Ла-Пьера – грубые люди, но они казались вежливыми и любезными по сравнению с теми, что толклись на улицах Парижа; здесь тебя бесцеремонно пихали, не думая извиняться, и к тому же нагло на тебя пялились. Пусть я была тогда еще ребенком, но не смела показаться на улице одна и все время держалась возле отца или сидела в своей комнате в «Красной лошади».

В последний вечер нашего пребывания в Париже отец повел меня на площадь Порт-Сен-Мартен посмотреть, как парижане съезжаются к началу представления в опере, и это действительно был другой Париж, ничуть не похожий на нищий квартал вокруг нашей гостиницы. Блестящие дамы в брильянтах, украшающих голые плечи и грудь, выходили из экипажей, сопровождаемые кавалерами, так же роскошно одетыми. Весь этот блеск, все великолепие красок, оживленные голоса, вычурная, нарочито жеманная речь – можно было подумать, что они разговаривают на другом языке, их французский был совсем не похож на наш, – то, как двигались эти дамы, как они поддерживали юбки, как важно выступали рядом с ними кавалеры, покрикивая: «Расступись, дорогу госпоже маркизе!» – и расталкивая толпу, собравшуюся на ступенях оперы, – все это казалось мне сном, сказкой. Эти блистательные дамы и кавалеры распространяли вокруг себя диковинные, чужеземные ароматы, какие издают увядшие цветы, чьи лепестки сморщились и потеряли свежесть, и этот густой душный запах смешивался со смрадом грязи и пота, исходившим от тех, кто стоял возле нас, теснясь и толкаясь, подобно нам, в своем упрямом желании увидеть королеву.

Наконец подъехала ее карета, запряженная четверкой великолепных лошадей. Лакеи спрыгнули с запяток, чтобы отворить дверцы, и тут же, неизвестно откуда, появились придворные слуги, которые старались отгеснить зевак с помощью длинных палок.

Первым из кареты вышел брат короля, граф д'Артуа, – король, как все знали, не любил оперы и никогда там не бывал. За графом – рыхлым бело-розовым юношей в атласном камзоле, сплошь покрытом звездами и орденами, – следовала молодая женщина в розовом платье с огромным брильянтом в напудренных волосах и высокомерным выражением лица. Позже мы узнали, что это была графиня де Полиньяк, близкая подруга королевы. Затем, после короткой паузы, я увидела и саму королеву – она вышла из кареты последней. Мария-Антуанетта была вся в белом, на шее и в волосах у нее сверкали брильянты, ее светлые голубые глаза скользнули по толпе взором, выражающим полное безразличие. Опираясь на руку графа д'Артуа, она сошла на землю и исчезла из виду, такая миниатюрная, хрупкая и изящная, похожая на фарфоровые статуэтки, которые показывал мне утром отец, – они были выставлены в витрине лавки его знакомого купца.

«Ну вот, – сказал мне отец, – теперь ты удовлетворена?»

Я даже не могла сказать, получила ли удовольствие. Мне словно бы довелось заглянуть в другой мир. Неужели эти люди тоже едят, думала я, раздеваются, справляют нужду, как и мы? Этому невозможно поверить.

Остаток вечера мы провели, гуляя по улицам, чтобы «остыть», как выразился отец, и в то самое мгновение, когда мы остановились на улице Сент-Оноре, разговаривая с одним из зна-

комых отца, я увидела, что к нам приближается знакомая фигура, облаченная в великолепную форму аркебузирова. Это был мой брат Робер.

Он сразу же нас увидел, приостановился, потом сделал пируэт, словно балетный танцовщик, перепрыгнул через канаву посередине улицы Сент-Оноре и скрылся в саду, окружающем Тюильрийский дворец. Отец, который как раз случайно обернулся, удивленно посмотрел вслед удаляющейся фигуре.

– Если бы я не знал, что мой старший сын находится у себя дома, в Шен-Бидо, – сухо заметил он, обращаясь к своему собеседнику, – я бы решил, что этот молодой офицер, который только что скрылся за деревьями, не кто иной, как он.

– Все молодые люди, – заметил знакомый отца, – похожи друг на друга, когда на них военная форма.

– Возможно, – ответил отец. – И все обладают одинаковой способностью выпутываться из затруднительного положения.

Больше не было сказано ни слова. Мы повернули назад, в гостиницу на улице Сен-Дени, а на следующий день вернулись домой в Ла-Пьер. Отец никогда не упоминал о той встрече, но когда я спросила матушку, была ли она в Шен-Бидо во время нашего отсутствия, она ответила, глядя мне прямо в глаза: «Меня просто поражает, как Робер великолепно умеет сочетать работу – я имею в виду состояние дел в мастерской – с развлечениями».

Но одно дело – играть в солдатики, и совсем другое – отправить партию стекольного товара в Шартр, не внося его в конторские книги мастерской. Любому, кто попытался бы обмануть мою мать в том, что касается торговли, суждено было горько об этом пожалеть.

Мы были в Шен-Бидо с обычным двухдневным визитом, во время которых матушка обычно проверяла, как выполняются заказы, и все шло гладко, пока, совершенно неожиданно, она не объявила, что хочет пересчитать пустые ящики, которые вернулись из Парижа на прошлой неделе.

– В этом нет необходимости, – сказал Робер, на сей раз оказавшийся на месте. – Ящики свалены на складе до следующего раза, когда нужно будет снова отправлять товар. Кроме того, количество их известно: двести штук.

– Правильно, их должно быть двести. Именно в этом я и хочу убедиться.

Брат продолжал возражать.

– Я не могу поручиться за то, что на складе все в порядке, – сказал он, послав мне тревожный взгляд. – Блез в это время был нездоров, и когда привезли ящики, их свалили кое-как. Но уверяю вас, когда будет готова новая партия, всё разберут и сложат как полагается.

Матушка не хотела ничего слышать.

– Мне понадобятся двое работников, чтобы сложить ящики, и тогда я смогу их пересчитать. Прошу тебя распорядиться немедленно. И я хочу, чтобы ты пошел со мной.

Она обнаружила, что не хватает пятидесяти ящиков, и, как на грех, в тот самый день в Шен-Бидо наведлся возчик-комиссионер, из тех, что мы нанимали на стороне для доставки товара. Ни о чем не подозревая, он объяснил матушке, что в тех ящиках, которых она недо считалась, отправлена в Шартр партия особо ценного хрусталя, предназначенного для стола драгун, которые как раз стояли в городе.

Матушка поблагодарила возчика и пригласила Робера пройти в господский дом.

– А теперь, – объявила она, – я желаю получить объяснение, почему эта партия «особо ценного хрусталя» не значится в реестре?

Может быть, окажись на месте старшего брата средний, Мишель, которому трудно было говорить из-за порока речи, дело могло обернуться по-иному. Робер же отвечал без малейшего колебания:

– Вы должны понять, что, когда имеешь дело с человеком благородным, таким как полковник граф де ла Шартр, который, как всем известно, является личным другом его высочества

брата короля, нельзя рассчитывать на то, что тебе немедленно заплатят. Быть поставщиком такого человека – высокая честь, почти равносильная оплате.

Матушка указала пером на строчку в открытой конторской книге.

– Вполне возможно, – произнесла она. – Однако мы с твоим отцом не имеем сомнительного удовольствия состоять с ним в деловых отношениях. Что же касается самого графа де ла Шартра, то о нем мне известно только одно: его замок в Маликорне славится как приют всяческих сумасбродств и интриг. Говорят, граф не только разорился сам, но и разорил всех торговцев в округе – никто из них не может получить ни одного су своих денег.

– Все это неправда, – отвечал мой брат, пренебрежительно пожимая плечами. – Я удивляюсь, как вы можете слушать такие злобные сплетни.

– Я не могу считать сплетней то, что честные торговцы, с которыми хорошо знаком твой отец, вынуждены обращаться за помощью или голодать, – отвечала моя мать, – только потому, что твой аристократический друг строит в своем имении театр.

– Поощрять искусство необходимо, – возражал Робер.

– Еще более необходимо платить долги, – стояла на своем матушка. – Какова стоимость партии хрусталя, отправленного этому полку?

Брат колебался.

– Я точно не знаю.

Матушка настаивала на ответе.

– Около полутора тысяч ливров, – признался наконец он.

Не хотела бы я в тот миг оказаться на месте брата. Синие глаза матушки подернулись ледком, словно северные озера.

– В таком случае я сама напишу графу де ла Шартру, – заявила она, – и если не получу от него удовлетворительного ответа, то обращусь непосредственно к его высочеству брату короля. Не сомневаюсь, что либо тот, либо другой будут настолько любезны, что ответят мне и заплатят долг.

– Можете не трудиться, – выпалил брат. – Деньги уже истрачены.

Дело плохо, понимала я и дрожала за брата... Как он ухитрился истратить полторы тысячи ливров? Матушка оставалась спокойной. Она оглядела скромную меблировку господского дома, обставленного еще моими родителями.

– Насколько я могу судить, – заметила она, – ни здесь, ни где-либо еще в мастерской не заметно следов крупных затрат.

– Вы совершенно правы, – ответил брат. – Деньги истрачены не здесь, не в Шен-Бидо.

– Где же тогда?

– Не скажу.

Матушка закрыла конторскую книгу, встала и направилась к двери.

– По истечении трех недель ты дашь мне отчет за каждое су, – изрекла она. – Если к этому времени я не получу удовлетворительного ответа, скажу твоему отцу, что мы закрываем завод в Шен-Бидо по причине совершенного там мошенничества, и добьюсь того, что твое имя будет вычеркнуто из списка мастеров-стеклодувов во всей нашей корпорации.

Она вышла из комнаты. Брат принужденно рассмеялся и, развалившись в кресле, из которого она только что встала, положил ноги на стол.

– Мать никогда не осмелится это сделать, – бахвалился он. – Она же понимает, что мне тогда конец.

– Напрасно ты так уверен, – предупредила я его. – Деньги надо найти, это несомненно. На что ты их истратил?

Робер покачал головой:

– И тебе я этого не скажу. – Несмотря на серьезность положения, на губах у него появилась улыбка. – Денег нет, они истрачены, и их уже не вернуть, а все остальное не важно.

Истина обнаружилась довольно необычным образом. Примерно неделю спустя к нам в Ла-Пьер приехали из Брюлоннери тетушка Демере с мужем, и, как обычно, с новостями и сплетнями из Парижа, Вандома и других крупных городов разговор перешел на местные дела.

– Я слышала, весь Шартр бурлит после маскарада, который устраивали там на днях. На нем были все тамошние красотки, с мужьями или без оных.

При упоминании о Шартре я наострила уши и посмотрела на Робера, который тоже сидел за столом.

– Правда? – спросил отец. – Мы ничего об этом не знаем. Но ведь мы так далеки от этих легкомысленных затей в нашей глуши.

Тетушка, которая была ярой противницей всякого веселья, состроила презрительную мину.

– В Шартре только об этом и говорили, когда мы были там две недели тому назад, – продолжала она. – Оказывается, офицеры драгунского полка его высочества и молодые кутилы из корпуса аркебузиреров вроде как побились об заклад: кто из них лучше повеселит местных дам, которые съедутся со всей округи.

– А шартрские дамы, как известно, весьма не прочь повеселиться и очень любят тех, кто предоставляет им эту возможность, – вставил дядюшка Демере, подмигнув моему отцу.

Отец насмешливо поклонился, как бы принимая шутку.

– Говорят, все это продолжалось чуть ли не до самого рассвета, – рассказывала тетушка. – Пили, танцевали, гонялись друг за другом вокруг собора самым бессовестным образом. Я слышала, что аркебузиры истратили целое состояние на это свое развлечение.

– Меня это несколько не удивляет, – заметил отец. – Поскольку эти господа берут пример с нового двора в Версале, следовало ожидать чего-то подобного. Будем надеяться, что они могут позволить себе такую роскошь.

Робер неотрывно глядел в потолок, делая вид, что погружен в размышления или заметил какое-то пятно на штукатурке.

– А что драгуны его высочества? – спросила матушка. – Какова была их роль во всем этом деле?

– Мы слышали, они проиграли пари, – ответил дядя. – Обед, который они дали, не шел ни в какое сравнение с маскарадом. Во всяком случае, драгуны теперь расквартированы в каком-то другом месте, а аркебузиры, у которых короткий срок службы, вероятно, почивают на лаврах.

Надо отдать должное матушке: ни одно слово об этой эскападе не коснулось ушей отца, но она сразу же уехала с Робером в Шен-Бидо, оставив на меня все хозяйство в Ла-Пьере, несмотря на то что я была еще так молода, и оставалась там, пока Робер не возместил своим трудом убытки, изготовив собственноручно точно такую же партию хрусталя, какая была отправлена драгунам его высочества.

Была весна 1777 года. Срок аренды стекловарни в Ла-Пьере и шато, долгое время служившего нам жилищем, оканчивался. Сын мадам ле Гра де Люар, к которому перешло по наследству поместье, имел на него другие виды, и наша семья с тяжелым сердцем оставила красивый дом, где родились мы с Эдме и где выросли три наших брата, ставшие теперь юношами.

Мы с Эдме и, конечно же, Пьер и Мишель считали ле Гра де Люара захватчиком, посягающим на наши права: неужели только потому, что он сеньор и владелец Ла-Пьера, он считает себя вправе отдать имение другому арендатору или приезжать туда, чтобы жить там несколько месяцев в году? Стекловарня, которую мой отец из скромной домашней мастерской превратил в один из самых значительных «домов» во всей стране, перейдет к другому мастеру и, скорее всего, снова захиреет в чужих неумелых руках. Наши родители смотрели на вещи философски, более спокойно, чем мы. Мастер-стеклодув должен всегда быть готов сняться с насиженного места и искать нового пристанища. В старину стеклодувы были бродягами, перебирались

из одного леса в другой, нигде не задерживаясь больше чем на несколько лет. Мы должны почитать себя счастливыми, что выросли в Ла-Пьере, провели там все свое детство. К счастью, срок аренды Шен-Бидо, так же как и Брюлоннери, истекал еще не скоро – оставалось несколько лет, – так что семья могла выбирать, на чем остановиться.

Отец, мать и мы с Эдме перебрались в Шен-Бидо, а мальчики – Робер с Пьером – отправились в Брюлоннери. Мишель, которому к тому времени исполнился двадцать один год, решил какое-то время пожить вдали от семьи, чтобы набраться опыта, и стал работать в Берри, что возле Буржа. Все три моих брата, чтобы их не путали в деловых кругах, сделали к своей фамилии добавление: Робер стал называться Бюссон л'Эне, Пьер – Бюссон дю Шарм, а Мишель – Бюссон-Шалуар. Шарм и Шалуар были крохотные фермы, отошедшие моим родителям по их брачному контракту.

Матушке эти добавления к фамилии показались ненужными и нелепыми. «Ваш отец и его брат, – говорила она мне, – никогда не думали о том, что нужно друг от друга отличаться. Они были „братья Бюссон“ и довольствовались этим. Впрочем, если Роберу угодно называть себя Бюссон л'Эне, может быть, это позволит ему осознать лежащую на нем ответственность и остепениться наконец. Если он не в состоянии выбрать себе жену, которая бы его сдерживала, мне придется сделать это самой».

Я думала, что она шутит, ведь Роберу уже двадцать семь и он вполне способен выбрать жену самостоятельно. Поначалу я не поняла и того, что мамыны участвовавшие поездки в Париж вместе с отцом и стремление познакомиться с семьями купцов, с которыми у отца были дела, вызваны решением женить Робера.

Только после того, как все трое стали ездить вместе, останавливаясь в «Красной лошади» якобы для того, чтобы обсудить дела, касающиеся двух стекловарен, и матушка, возвращаясь домой, как бы случайно упоминала имя мсье Фиата, зажиточного торговца, у которого была единственная дочь, – только тогда я поняла истинную причину этих визитов.

– Какая она, эта дочь? – спрашивала я.

– Очень хороша собой, – отвечала матушка, в устах которой это означало очень многое. – И похоже, сильно увлечена Робером, так же как и он ею. По крайней мере, говорят они между собой без умолку. Я слышала, он просил разрешения нанести им визит, когда будет в следующий раз в Париже, что означает на будущей неделе.

Это было настоящее сватовство. Я чувствовала, что ревную, ведь до сих пор мне единственной Робер поверял свои тайны.

– Она ему скоро надоест, – отважилась заметить я.

– Вполне возможно. – Матушка пожала плечами. – Она полная противоположность Роберу, если не считать веселого характера. Черненькая, миниатюрная, большие карие глаза и локоны до плеч. На твоего отца она произвела большое впечатление.

– Робер никогда не женится на дочери торговца, – продолжала я. – Даже если это самая хорошенькая девушка в Париже. Этим он уронит себя в глазах своих изысканных друзей.

Матушка улыбнулась.

– А что, если она принесет ему в приданое десять тысяч ливров? – спросила она. – Мы даем ему столько же, и твой отец уступает ему аренду Брюлоннери.

На сей раз мне нечего было ответить. Я отправилась к себе в комнату в самом дурном расположении духа.

Мой брат Робер не устоял перед щедрыми родительскими посулами и красотой двадцатилетней Катрин-Адели. Брачный контракт был подписан родителями жениха и невесты, и 21 июля 1777 года в церкви Сент-Совер в Париже состоялось бракосочетание Робера-Матюрена Бюссона с Катрин-Аделью Фиат.

Глава четвертая

Первый удар обрушился на нас три месяца спустя после свадьбы. Дядюшка Демере приехал в Шен-Бидо сообщить моему отцу, что Робер сдал Брюлоннери в аренду некоему мастеру-стеклодуву по имени Комон, а сам арендовал Ружемон – великолепный стекольный «дом» – и прилегающее к нему шато, принадлежавшие маркизу де ла Туш и расположенные в приходе Сен-Жан-Фруамонтель.

Отца это известие настолько ошеломило, что он отказывался ему верить.

– Но это правда, – настаивал дядя. – Я сам видел бумаги, подписанные и скрепленные печатью. Как и всех этих господ аристократов, которым принадлежат земля и расположенные на ней заводы, маркиза нисколько не волнует состояние предприятия. Ему важно одно: сдать завод в аренду и получить денежки. Ты ведь знаешь этот «дом». Он уже много лет работает в убыток.

– Этому необходимо положить предел, – сказал отец. – Робер разорится. Он потеряет все, что у него есть, и к тому же погубит свою репутацию.

На следующий же день мы отправились в путь – отец, мать, дядюшка Демере и я. Я твердо решила поехать вместе с ними, а моим родителям, слишком встревоженным тем, что случилось, даже в голову не пришло, что мое присутствие там вовсе не обязательно. Мы задержались на час-другой в Брюлоннери, чтобы отец мог поговорить с арендатором, мсье Коном, и посмотреть подписанные документы, а потом поехали через лес в Ружемон, который был расположен в долине по ту сторону дороги, ведущей из Шатолена в Вандом.

– Он сошел с ума, – повторял отец, – просто сошел с ума.

– Это наша вина, – сказала матушка. – Он не может забыть Ла-Пьер. Воображает, что в двадцать семь лет способен сделать то, чего ты добился после многих лет тяжких трудов. Мы виноваты. Это я его избаловала.

Ружемон – поистине грандиозное место. Сама стекольная мануфактура состояла из четырех отдельных зданий, обращенных лицом к обширному двору. Здание с правой стороны предназначалось для жилья мастеров-стеклодувов, возле него была расположена огромная стекловарная печь с двумя трубами, за ней следовали склады и кладовые, мастерские гравировщиков, а напротив них – жилища для рабочих. Массивные железные ворота соединяли двор с английским парком, служащим фоном для великолепного шато. Отец надеялся застать сына врасплох, но, как это обычно случается в нашем тесном мирке стеклоделов, кто-то уже успел предупредить его о нашем визите, и не успели мы въехать во двор, как нам навстречу вышел Робер, веселый, улыбающийся и самоуверенный, как обычно.

– Добро пожаловать в Ружемон! – приветствовал он нас. – При всем желании вы не могли бы выбрать лучшего времени для визита. Только сегодня утром мы заложили новую плавку, обе печи у нас в действии. Видите, обе трубы дымят? Все рабочее до одного занято. Можете пойти и убедиться.

Робер был одет не в рабочую блузу – обычный костюм моего отца во время смены, – на нем был синий бархатный камзол, который больше подошел бы придворному щеголю, разгуливающему по садам Версаля, чем мастеру-стеклоделу, когда он собирается войти в свою мастерскую. Мне-то показалось, что брат смотрится в нем ослепительно, однако, взглянув на отца, я смутилась: хмурое выражение его лица не предвещало ничего хорошего.

– Катрин примет маму и Софи в шато, – продолжал Робер. – Мы держим там для себя несколько комнат.

Он хлопнул в ладоши и крикнул на манер восточного владыки, призывающего черного раба. И откуда ни возьмись появился слуга, который низко поклонился и распахнул чугунные ворота, ведущие в шато.

Стоило посмотреть на лицо моей матери, когда мы следом за слугой вошли в дом и, пройдя через переднюю, оказались в огромном зале, где вдоль стен стояли стулья с высокими спинками и висели зеркала, в которых мы увидели свои отражения. Там нас ожидала молодая жена Робера, урожденная мадемуазель Фиат, дочь коммерсанта, – она, должно быть, увидела нас из окна, – одетая в розовое платье из тончайшего муслина, украшенное белыми и розовыми бантами. Очаровательная и изящная, она напоминала сахарные фигурки, украшавшие ее свадебный торт.

– Какой приятный сюрприз! – пролепетала она, бросаясь к нам, чтобы обнять, но, вспомнив вдруг о присутствии слуги, остановилась и церемонно обратилась к нему, велев принести угощение, после чего немного успокоилась и предложила нам сесть, что мы и сделали и некоторое время сидели и смотрели друг на друга.

– Вы прелестно выглядите, – сказала наконец моя мать, начиная беседу. – А как вам нравится быть женой мастера-стеклодела здесь, в Ружемоне?

– Очень нравится, – отвечала Катрин, – только я нахожу, что это довольно утомительно.

– Несомненно, – отозвалась матушка. – И к тому же это очень большая ответственность. Сколько здесь занято работников и сколько из них женаты и имеют детей?

Катрин широко раскрыла глаза:

– Понятия не имею. Я ни разу не разговаривала ни с кем из них.

Я думала, это заставит матушку замолчать, однако она быстро пришла в себя.

– Чем же вы в таком случае занимаетесь? – продолжала она. – Как проводите время?

– Отдаю распоряжения слугам, – проговорила Катрин после минутного колебания, – и слежу за тем, как они натирают полы. Вы же видите, какие здесь большие комнаты.

– Да, конечно, – ответила матушка. – Неудивительно, что вы так устаете.

– Кроме того, – продолжала Катрин, – мы принимаем гостей. Иногда у нас обедают человек десять – двенадцать, и они являются без предупреждения. А значит, в доме всегда должны быть запасы еды, которую порой приходится выбрасывать. Здесь ведь не Париж. Когда мы жили на улице Пти-Каро, всегда можно было пойти на рынок и все купить, если нагрянут гости.

Бедняжка Катрин, она действительно уставала. В конце концов, ей, дочери купца, нелегко было исполнять обязанности хозяйки стекольного «дома».

– Кто у вас бывает? – осведомилась матушка. – В нашей среде не принято, чтобы мастера, да еще с женами, ходили друг к другу в гости.

Катрин захлопала ресницами:

– Но мы не принимаем никого из здешних. У нас бывают друзья и знакомые Робера из Парижа. Они либо приезжают к нам в гости, либо останавливаются проездом по дороге из столицы в Блуа. В Брюлоннери было то же самое. Ведь одна из главных причин, почему Робер решил сменить Брюлоннери на Ружемон, это то, что здесь так много места и удобно принимать гостей.

– Понятно, – протянула моя матушка.

Мне стало жалко Катрин. Я не сомневалась в том, что она любит Робера, но в то же время я прекрасно понимала, что она чувствовала бы себя гораздо лучше в родительском доме на улице Пти-Каро. Через некоторое время она спросила, не хотим ли мы посмотреть отведенные нам покои, и мы пошли через анфиладу огромных комнат, каждая из которых значительно превосходила те, что были в Ла-Пьере. Катрин, шедшая впереди, указала нам на два огромных канделябра в столовой; в каждом из них, по ее словам, было по тридцать свечей, и их приходилось менять всякий раз, когда они там обедали.

– Столовая выглядит великолепно, когда все они зажжены, – с гордостью говорила Катрин. – Робер сидит на одном конце стола, я – на другом, а гости по краям, по обе стороны от нас, на английский манер, и он знаком показывает мне, когда нужно встать из-за стола и удалиться в гостиную.

Она закрыла ставни, чтобы не выгорала длинная – во всю длину комнаты – ковровая дорожка, лежащая у стены.

– Она словно ребенок, играющий в игрушки, – прошептала матушка. – Только хотела бы я знать, чем все это кончится.

Кончилось это ровно одиннадцать месяцев спустя. Расходы по дому и мастерской в Ружемоне значительно превысили все расчеты моего брата, и дело еще более осложнилось тем, что он допустил какую-то ошибку при поставке товара в торговые дома Парижа. Большая часть приданого Кэти была истрачена меньше чем за год, так же как и часть, выделенная Роберу. Им, слава богу, повезло хотя бы в том, что Ружемон был арендован всего на год.

Мой отец, несмотря на горькое разочарование, которое причинило ему безрассудство Робера и бессмысленная потеря такого большого количества денег, умолял сына вернуться в Шен-Бидо и работать рядом с ним в качестве управляющего. Отец считал, что под его приглядом Робер уже не сможет наделать глупостей.

Робер отказался.

– Не считайте меня неблагодарным из-за того, что я отвергаю ваше предложение, – оправдывался он перед родителями, когда приехал домой обсудить положение вещей вместе с печальной и задумчивой Катрин, которая имела весьма неприятное объяснение со своим разгневанным семейством на улице Пти-Каро, – но у меня есть уже определенные намерения, связанные с Парижем, – пока я не могу сказать ничего больше, – которые сулят неплохие перспективы. Некий мсье Каннет, один из банкиров Версальского двора, подумывает о том, чтобы основать по моей рекомендации стекольный завод в квартале Сент-Антуан, на улице Буле, и, разумеется, если все пойдет как надо, я буду назначен управляющим.

Отец с матерью переглянулись, а потом перевели взгляд на оживленное, улыбающееся лицо моего брата, на котором не угадывалось и следа озабоченности или какого-либо другого признака минувших несчастий.

– Ты только что потерял целое состояние, – заметил мой отец. – Как ты можешь быть уверен, что снова не случится того же самого?

– Это будет предприятие мсье Каннета, а не мое, – отвечал Робер. – Я просто стану там работать за жалованье.

– А если предприятие потерпит неудачу?

– Пострадает мсье Каннет, а не я.

Мне было в ту пору не более пятнадцати лет, однако даже в этом юном возрасте я понимала, что в душе моего брата есть какой-то изъян, ей чего-то недостает – назовите это нравственным началом или как-нибудь иначе, – но эта его особенность проявлялась в самой манере говорить, в его беспечности, когда дело касалось других людей, их чувств или собственности; в его неспособности понимать какую-либо точку зрения, кроме своей.

Матушка сделала последнюю попытку отговорить его от новой затеи.

– Откажись от этой мысли, – просила она его. – Приезжай домой или, если хочешь, возвращайся в Брюлоннери и работай там мастером у нового арендатора. В провинции каждый прочно сидит на своем месте, а те новые начинания, которые то и дело затеваются в Париже, сплошь и рядом оканчиваются ничем.

Робер нетерпеливо повернулся к ней:

– То-то и оно! Вы, в провинции, закоснели, и жизнь здесь попросту провинциальна. А вот в Париже...

– В Париже, – закончила за него мать, – человек может разориться за месяц, независимо от того, есть у него друзья или нет.

– У меня, благодарение богу, друзья есть, – напыжился Робер, – и весьма влиятельные к тому же. Мсье Каннет, о котором я уже говорил. Есть и другие, которые гораздо ближе к при-

дворным кругам. Стоит им сказать словечко в нужном месте и в нужное время, и карьера моя обеспечена на всю жизнь.

– Или загублена, – вздохнула мать.

– Как вам угодно. Но я предпочитаю играть по-крупному или не играть вовсе.

– Пусть его делает как хочет! – махнул рукой отец. – Спорить с ним бесполезно.

Так на улице Буле появилась стекольная мануфактура с Робером во главе, и в течение полугода господин Каннет, придворный банкир, понес такие потери, что ему пришлось продать свое предприятие. Он это и проделал через голову Робера, которому пришлось обратиться к мсье Фиату, отцу Катрин, за довольно значительной суммой, чтобы преодолеть «временные» затруднения.

За этим последовало продолжительное молчание. Робер не писал нам в Шен-Бидо, а мы не ездили в Париж, поскольку находились в состоянии сильного беспокойства, вызванного нездоровьем отца. Он упал с лошади, возвращаясь из Шатодена, и пролежал в постели более полутора месяцев, в течение которых матушка, Эдме и я поочередно за ним ухаживали. В конце концов мы получили известие – не изустно и не через письмо, но через ежемесячный торговый журнал, который выписывал отец и который мы отнесли к нему в спальню, когда ему стало лучше.

Номер был датирован ноябрем 1779 года, и заметка выглядела следующим образом:

Г-н Кевремон-Деламот, парижский банкир, просит разрешения министра внутренних дел на изготовление стекольного товара по английскому методу в стеклодельной мастерской Вильнёв-Сен-Жорже, что близ Парижа, которую до этого держал мануфактурищик-стеклодел из Богемии Жозеф Кёниг. Г-н Кевремон-Деламот уже истратил на это свое заведение 24 тысячи ливров, пока оно работало под руководством г-на Кёнига, чьи таланты и знания оказались, однако, не столь значительными, как предполагал первоначально г-н Кевремон-Деламот. Он сохраняет за собой обычные привилегии и патент и намеревается ввести в должность управляющего г-на Бюссона л'Эне, который имеет широкие связи в округе. Г-н Бюссон был воспитан и получил звание мастера в стеклодельном «доме» Ла-Пьера под руководством г-на Матюрена Бюссона, который в свое время писал статьи в Академию по поводу своих изобретений, касающихся флинтгласа⁸. Таким образом, г-н Кевремон-Деламот имеет все основания рассчитывать на то, что благодаря стараниям нового управляющего мастерские в Вильнёв-Сен-Жорже будут выпускать изделия самого высокого качества.

Мы с Эдме тоже прочитали эту заметку, только значительно позже. Впервые мы узнали о ее существовании, когда наверху раздался яростный звон колокольчика и мы бросились в комнату к отцу. Он лежал почти поперек кровати, его ночная рубашка была запачкана кровью на груди, на простынях тоже была кровь.

«Позовите мать!» – задыхаясь, проговорил он, и Эдме помчалась вниз, в то время как я старалась удержать его голову на подушке. Уже во второй раз у него сделалось кровотечение. Впервые оно случилось после того, как он упал с лошади. Матушка прибежала в ту же секунду. Послали за доктором, который объявил, что отец находится в безопасности, однако предупредил матушку, что любое неприятное известие, любое волнение могут оказаться роковыми.

Через некоторое время, когда отцу стало полегче, он указал нам на журнал, который во время всей этой суматохи упал на пол, и мы тут же догадались о причине внезапного приступа.

⁸ Флинтглас – свинцовое стекло, английский хрусталь. Отличается не только особым блеском и прозрачностью, но и высоким показателем преломления, благодаря чему используется в оптике.

«Как только он поправится и я смогу его оставить, – сказала мне мать, – я сама поеду в Париж и выясню, что можно сделать, чтобы предотвратить дальнейшие беды. Если Робер дал согласие работать в Вильнёве только управляющим, тогда, возможно, ничего страшного не случится. Но если он связал себя еще и финансовыми обязательствами, это может привести к трагедии похуже той, что случилась с ним в Ружемоне».

Нам оставалось только ждать, что будет дальше. Здоровье отца как будто бы несколько улучшилось, и, оставив его на моем попечении, матушка отправилась в Париж. Когда неделю спустя она вернулась домой, едва взглянув на ее лицо, мы сразу поняли, что случилось самое худшее. Робер не только стал управляющим стекольного завода в Вильнёв-Сен-Жорже, но, кроме того, дал согласие купить это предприятие у господина Кевремона-Деламота за восемнадцать тысяч ливров с обязательством выплатить означенную сумму в течение полугода со дня подписания договора.

– Он должен расплатиться в мае следующего года, – говорила матушка, и я в первый раз в жизни увидела слезы у нее на глазах. – Он никак не сумеет этого сделать. В эту стекловарню вложены уже тысячи ливров, и потребуются еще тысячи, прежде чем она станет приносить доход. Там нужно обновить печь, нужны новые склады, а помещения для рабочих просто настоящие свинарники. Деньги до сих пор в основном тратились на постройку временных жилищ для работников, которых прежний владелец, Кёниг, приглашал из Англии. Он, оказывается, делами совсем не занимался, поскольку беспробудно пил.

– Но почему Робер взялся за это дело? – спросила я. – Он дал какие-нибудь объяснения?

– Обычные, – ответила мать. – У него, как он говорит, есть «влиятельные» друзья, которые оказывают ему поддержку. Этим предприятием заинтересовался некий маркиз де Виши, который, как считает Робер, купит его, предоставив твоему брату управление.

– Но зачем же в таком случае Роберу понадобилось самому покупать стекловарню? – вмешалась в разговор Эдме.

– Да потому, что твой брат игрок, – с сердцем ответила матушка. – То, что он проделал, в торговых кругах называется спекуляцией. В этом все дело.

Потом матушка смягчилась. Она протянула к нам руки, и мы пытались ее успокоить.

– Это я виновата, – покаялась она. – Все эти безумства, это стремление к высшему обществу – от меня. Нас с ним одолевает гордыня.

Теперь уже Эдме готова была расплакаться.

– Но в вас нет никакой гордыни, – возражала она. – Как вы можете себя обвинять? То, что делает Робер, не имеет к вам никакого отношения.

– О нет, имеет, – не соглашалась мать. – Это я научила его стремиться к высоким целям, и он это знает. Сейчас уже поздно надеяться, что он может измениться. – Она замолчала, посмотрев на нас обеих по очереди. – Знаете, что больше всего меня тревожит? Больше его будущего? Он даже не удосужился сообщить, что Катрин ожидает ребенка. У них родилась дочь, это случилось первого сентября. Моя первая внучка.

Робер – отец... Я не могла его себе представить в этой роли, так же как не могла себе представить Катрин с младенцем на руках. Ей больше подошла бы кукла.

– Как они ее назвали? – спросила Эдме.

Матушка слегка изменилась в лице.

– Элизабет-Генриетта, – ответила она. – В честь мадам Фиат, разумеется.

И она отправилась наверх к отцу, чтобы сообщить ему эту новость.

Еще несколько месяцев мы питались только слухами, ничего не зная наверняка. Маркиз де Виши потерял интерес к стекольному заводу в Вильнёв-Сен-Жорже... Робер обратился к другому банкиру... Поговаривали о том, что господин Кевремон-Деламот собирается снова вести дела с прежним своим партнером, Жозефом Кёнигом, – они присмотрели какой-то маленький заводик в Севре...

Отец был еще слишком слаб для дальних поездок, и поэтому в начале февраля он послал в Вильнёв-Сен-Жорж Пьера разузнать, что там делается.

Пьер, которому исполнилось двадцать семь лет, больше не был тем же беззаботным юношей, что и в семнадцать, тем не менее он очень надеялся, что Робер преуспеет в своем новом предприятии. «Если брат добьется успеха, – заявил Пьер отцу, – он может располагать моими сбережениями, мне они не нужны». Это доказывало, что сердцем он не изменился, несмотря на зрелый возраст. Увы, для спасения Робера от банкротства требовалось гораздо больше сбережений его брата.

Пьер возвратился из Вильнёв-Сен-Жоржа в конце месяца, привезя с собой локон детских волос для моей матери, часы великолепной работы для отца – их хрустальная оправа была изготовлена на тамошнем заводе самим Робером – и копию подписанного в присутствии судей Королевского суда Шатле в Париже документа, свидетельствующего о неплатежеспособности Робера.

Через две недели после того отец, махнув рукой на свое недомогание и оставив на попечение Пьера Шен-Бидо и мою младшую сестру Эдме, поехал в Париж с матушкой и мною. Теперь, когда я смотрела из окон дилижанса, меня одолевали совсем иные чувства, чем в первую поездку, почти четыре года назад. В то время отец был здоров и бодр, а я исполнена радостного волнения в предвкушении чудес, ожидающих меня в столице, и утомительное путешествие стало сплошным удовольствием; ныне отец хворал, матушку снедала тревога, к тому же стоял жестокий холод, и нам не приходилось ожидать ничего, кроме публичного позора, грозившего моему брату.

Вильнёв-Сен-Жорж находился на окраине Парижа, в юго-восточной его части, и мы сразу же отправились туда, только переночевав в гостинице «Красная лошадь» на улице Сен-Дени.

На сей раз, в отличие от нашего прошлого неожиданного визита в Ружемон, Робер не вышел во двор нас встречать; впрочем, и двор был не тот: ни грандиозных заводских построек, ни великолепного шато – просто беспорядочное скопление ветхих сараев да две стекловарные печи, которые разделяла широкая канава, заполненная битым камнем и стеклом. И никаких признаков жизни. Печи не дымили. Все было заброшено.

Постучав в стекло нашего наемного экипажа, отец подозвал проходившего мимо работника.

– Что, завод уже больше не работает? – спросил он.

Рабочий пожал плечами:

– Сами видите. Меня рассчитали неделю назад. Как и всех остальных. Сказали, что нам еще повезло: мы все-таки что-то получили. Нас сто пятьдесят человек, и все остались без работы, а семью-то кормить надо. И ведь ни словом не предупредили! Между тем товар всё везут и везут – в Руан и в другие города на север. Ведь кто-то получает за это деньги, верно? Куда же они деваются?

Отца все это очень расстроило, но он ничего не мог сделать.

– А другую работу вы найти не можете? – осведомился он.

Мастеровой снова пожал плечами:

– Как? Теперь, когда печи погасили, нам работы не найти. Придется, видать, побираться. – Он все посматривал на матушку и наконец сказал: – Вы уже приезжали сюда раньше, верно? Вы мамаша управляющего?

– Да, – признала она.

– Так вы его здесь не найдете, точно вам говорю. Мы побили у него все стекла в доме, и он сбежал вместе с женой и ребятенком.

Отец уже шарил в карманах в поисках подходящей монеты, которую можно было бы дать рабочему. Тот взял деньги, не проявив особой благодарности, что было неудивительно, принимая во внимание все обстоятельства.

– Поезжай назад, на улицу Сен-Дени! – велел отец кучеру.

Мы повернули прочь от брошенного завода. Робер оставил там не только свидетельство своей неудачи, но еще и полторы сотни голодных, озлобленных рабочих.

– Что будем делать дальше? – спросила матушка.

– То, с чего, по-видимому, следовало начать: наведем справки у отца Катрин, на улице Пти-Каро. Даже если Робера там нет, она с ребенком наверняка нашла приют у родителей.

Отец ошибся. Фиаты ничего не знали о случившемся, они не видели ни Робера, ни Катрин по крайней мере два месяца.

Причиной этого отчуждения послужила, с одной стороны, холодность Фиатов, вызванная, несомненно, тем, что им пришлось одолжить зятю денег, а с другой стороны, гордость их дочери и ее преданность мужу.

Вернувшись в «Красную лошадь», мы обнаружили, что нас ожидает письмо от Робера, адресованное матушке.

Мне сообщили, что вы в Париже, – писал он. – Не стоит говорить это отцу и тревожить его, но в настоящее время я нахожусь под домашним арестом в отеле «Сент-Эспри», на улице Монторгейль, и останусь там до того момента, когда мое дело будет слушаться в суде. Я занимаюсь тем, что подвожу баланс: подсчитываю долги и то, чем я располагаю, и мне хотелось бы с вами посоветоваться. Я уверен, что мои активы превысят сумму долгов, в особенности если принять во внимание, что Брюлоннери по-прежнему принадлежит мне и что родители Катрин еще не выплатили мне оставшуюся часть ее приданого. Маркиз де Виши предал меня, как вы, несомненно, слышали, однако будущее не внушает мне особого беспокойства. Английский хрусталь сейчас в большой моде, в особенности при дворе, и я узнал от весьма сведущих людей, что некие господа Ламбер и Буайе собираются открыть завод для производства английского хрусталя в парке Сен-Клу, пользуясь покровительством и финансовой поддержкой самой королевы. Если мне удастся выпутаться из нынешнего затруднительного положения без особых осложнений, у меня есть все основания надеяться, что я получу там место главного гравировщика, поскольку я единственный человек во всей Франции, который что-то понимает в этом деле.

Ваш любящий сын Робер

Ни слова о Катрин и ребенке, ни слова сожаления о том, что с ним произошло.

Матушка, ничего не говоря, передала письмо отцу – бесполезно было скрывать от него правду, – и они вместе отправились к моему брату. Родители нашли его в добром здравии и отличном настроении – несостоятельность, по-видимому, не причиняла ему ни малейшего беспокойства.

«Он имел наглость заявить нам, – сказал мне впоследствии отец, который за этот час, проведенный с сыном, постарел, казалось, на десять лет, – что подобные несчастья весьма полезны, ибо они обогащают человека опытом. Он дал доверенность на ведение дела одному из своих партнеров в Вильнёве, поскольку сам лишен права подписывать бумаги».

Отец показал мне постановление, вынесенное судом на предварительном слушании дела в тот самый день, когда мы приехали в Париж.

В год 1780-й, марта 15-го дня, в совещательной комнате суда в Париже перед судьями, назначенными королем, предстал сьер⁹ Трпенье, проживающий в Париже и на стекольном заводе в Вильнёв-Сен-Жорже,

⁹ Сьер – господин (в официальных бумагах).

имеющий доверенность сьера Робера Бюссона, владельца завода в Вильнёв-Сен-Жорже, которому было приказано явиться перед судом и который просил нас назначить кого мы сочтем нужным для рассмотрения счетов вышепоименованного Бюссона, объявленного несостоятельным на основании постановления, поступившего в канцелярию суда в соответствии с указом от 1673 года и королевского эдикта от ноября 13-го дня 1739 года. Для этой цели мы вызвали вышеозначенного сьера Трепенье, предоставив ему полномочия оповестить всех кредиторов вышеназванного Бюссона, дабы они явились лично по специальному вызову в данный суд, предстали перед нами, судьями Совета, и представили свои документы, подтверждающие их права кредиторов, дабы мы могли удостовериться и утвердить их, буде возникнет надобность.

Сей документ является официальным подлинным постановлением состоявшегося заседания суда. Подписано: Гио.

Я возвратила судебное постановление отцу, который собирался снова ехать из дома, чтобы посоветоваться с лучшими юристами Парижа, однако матушка его отговорила. «Ты только убьешь себя и никому этим не поможешь, – убеждала она, – и в первую очередь – Роберу. Прежде всего следует выяснить, что именно он считает своим активом. Все нужные документы у меня при себе».

Она расположилась в комнате гостиницы совершенно так же, как если бы находилась у себя дома в Шен-Бидо и записывала дневные расходы. Надо было хоть что-нибудь спасти из развалин, в которые превратилось предприятие ее сына, и никто лучше матушки не смог бы этого сделать.

– А где же, в конце концов, бедняжка Катрин и ее малютка? – спросила я.

– Наверное, в Вильнёв-Сен-Жорже, прячется у кого-нибудь из знакомых, – ответила матушка.

– Значит, нужно привезти ее в Париж, и чем скорее, тем лучше, – сказала я, гораздо больше сочувствуя несчастной жене брата, чем ему самому.

На следующий день мы отправились в Вильнёв и нашли Катрин и крошку Элизабет-Генриетту в доме возчика-комиссионера, некоего Бодена, и его жены. Он не бил стекол в доме управляющего, а, наоборот, преисполнился жалости и сочувствия к его семье. Сама Катрин была слишком расстроена, чтобы двинуться с места, к тому же вернуться в родительский дом ей мешала гордость.

Выглядела она ужасно: хорошенькое личико подурнело от слез, непричесанные волосы спутались – словом, это была совсем не та Катрин, которая водила нас по роскошному шато в Ружемоне. Вдобавок ко всем бедам ее малютка заболела. Катрин опасалась перевозить больного ребенка с места на место. Матушка же боялась оставить отца одного в гостинице, поэтому было решено, с согласия добрых супругов Боден, что я останусь у них в доме в Вильнёв-Сен-Жорже, чтобы помочь жене брата.

За этим последовало несколько ужасных недель. Катрин, обезумевшая от горя после позорного разорения Робера, была совершенно не способна ухаживать за дочерью, которая заболела только потому – я в этом уверена, – что ее неправильно кормили и вообще плохо за ней ходили. Мне было всего шестнадцать лет, и я понимала в этих делах немногим больше невестки. Мы могли рассчитывать только на помощь и советы мадам Боден, но, хотя она делала для ребенка все возможное, восемнадцатого апреля бедная крошка умерла. Мне кажется, меня эта смерть огорчила больше, чем Катрин. Этого вполне могло не случиться. Малютка лежала в своем гробике, словно восковая куколка; на ее долю досталось всего семь месяцев жизни, а ведь она была бы жива и поныне – готова поклясться, – если бы Робер не переехал в Вильнёв-Сен-Жорж.

Матушка приехала к нам на следующий день после смерти ребенка, и мы отвезли бедняжку Катрин к ее родителям на улицу Пти-Каро, ибо, несмотря на то что Робер жил теперь в «Красной лошади» с родителями, его положение было по-прежнему смутным и не могло проясниться раньше конца мая.

Список кредиторов брата оказался огромным – даже больше, чем опасался мой отец. Помимо восемнадцати тысяч ливров, которые он был должен господину Кевремон-Деламоту за стекольный завод в Вильнёв-Сен-Жорже, его долги различным торговцам и агентам в Париже составляли почти пятьдесят тысяч ливров. Общий итог равнялся семидесяти тысячам ливров, и выплатить эту чудовищную сумму можно было только одним способом – продать единственную оставшуюся у Робера собственность, завод в Брюлоннери, который он получил по свадебному контракту с обязательством сохранить и который был оценен отцом в восемьдесят тысяч ливров.

Необходимость продать Брюлоннери явилась тяжким ударом для отца. Здесь он впервые начал осваивать свое ремесло в качестве подмастерья мсье Броссара, сюда привел молодую жену. И теперь предприятие, которое он вместе с дядюшкой Демере превратил в один из лучших стекольных «домов» Франции, приходилось продать, чтобы заплатить долги моего брата.

Что касается мелких кредиторов: виноторговцев, портных и мебельщиков, владельца конюшни, у которого Робер нанимал карету, чтобы съездить в Руан за каким-то необыкновенным сырьем, так и не использованным, – с ними всеми расплатилась моя мать из своих денег. У нее имелись собственные доходы, которые она получала от небольшой фермы в окрестностях родной деревни Сен-Кристоф.

Мне кажется, даже в тот день в конце мая, когда Робер предстал перед судом и его отпустили с миром, после того как все долги были уплачены, мой брат не понял всей тяжести своего чудовищного поступка.

– Все дело в том, чтобы свести знакомство с нужными людьми, – говорил он мне, когда мы собирали вещи, чтобы ехать домой, в Шен-Бидо. – До сих пор мне не везло, но теперь все пойдет иначе. Вот увидишь. Управляющим я больше не буду: это скучно и слишком большая ответственность. Но в качестве главного гравировщика на большом жалованье – им придется хорошо мне платить, иначе я не пойду на это место, – кто знает, каких высот я в конце концов могу достигнуть? Может, буду работать в самом Трианоне! Мне жаль, что отец так расстраивается. Впрочем, я всегда говорил, что у него провинциальные взгляды.

Он улыбался мне, веселый и самоуверенный, как всегда. Ему стукнуло тридцать, он был великолепный, просто блестящий мастер-гравировщик, но отличался себялюбивой беспечностью десятилетнего ребенка.

– Ты должен понимать, – сказала я ему со всей наставительностью, на какую была способна в свои шестнадцать лет (я никак не могла забыть его несчастного умершего ребенка), – что едва не разбил сердце Катрин, не говоря уже о нашем отце.

– Чепуха! – отмахнулся он. – Катрин уже с удовольствием думает о том, как будет жить в Сен-Клу, а когда у нее снова родится ребенок, она и совсем утешится. На этот раз у нас будет сын. Что же до отца, то как только он вернется в Шен-Бидо из Парижа, который всегда ненавидел, тут же оправится и станет самым собой.

Мой брат ошибся. На следующий же день, когда мы собирались садиться в дилижанс, чтобы ехать домой, у отца снова открылось кровотечение. Матушка сразу же уложила его в постель и послала за доктором. Сделать ничего было нельзя. Слишком слабый для того, чтобы ехать домой, понимая, что умирает, отец пролежал в «Красной лошади» еще неделю. Мать почти не отходила от его постели, а когда забывалась сном на час-другой в соседней комнате, ее место занимала я. Выцветший красный полог над кроватью, трещины в оштукатуренных стенах, тазик и кувшин с обитыми краями – эти печальные подробности прочно запечатлелись в моей памяти, пока я наблюдала, как жизнь моего отца неуклонно движется к своему пределу.

В Париже стояла удушающая жара, усугублявшая его страдания, но стоило хотя бы приоткрыть окно, выходящее на узкую шумную улицу Сен-Дени, как в комнату врывались шум и зловоние, от которого становилось еще труднее дышать.

Как отец тосковал о доме! Не только о милых сердцу вещах, окружавших его в Шен-Бидо, но и о самой земле, о лесах и полях, среди которых он родился и вырос. Робер называл его отношение к жизни провинциальным, но отец, так же как и наша матушка, корнями своими был связан с землей; и на этой земле, в благодатной Тюрени, самом сердце Франции, строил он свои стекольные «дома», создавая своими руками и своим дыханием красоту, неподвластную времени. Теперь жизнь уходила из него, словно воздух из стеклодувной трубки, которую отложил в сторону мастер, и в последнюю ночь, что мы провели вместе, пока матушка спала в соседней комнате, он посмотрел на меня и сказал: «Позаботься о братьях. Держитесь все вместе, одной семьей».

Он умер 8 июня 1780 года и был похоронен поблизости, на кладбище церкви Сен-Лё на улице Сен-Дени.

В то время мы были слишком измучены, ничего не видели от слез, но позднее с гордостью осознали, что во всем Париже не нашлось ни одного мастера или работника, причастного к нашему стекольному ремеслу, ни одного торговца из тех, что вели с отцом дела, который не пришел бы на кладбище Сен-Лё отдать дань уважения его памяти.

Глава пятая

Личное имущество моего отца оценивалось в сто шестьдесят тысяч ливров, и мать вместе с господином Босье, нотариусом из Монмирайля, до конца июля занималась тем, что разбирала отцовские бумаги, составляя списки долгов и активов. Они провели полную опись всего имущества и наконец установили окончательную цифру: сто сорок пять тысяч восемьсот четыре ливра. Половина этой суммы отходила моей матери, вторая же была поделена в равных долях между нами, пятью детьми. Робер и Пьер, которые достигли совершеннолетия, получили свою долю сразу, тогда как доля младших, несовершеннолетних, – Мишеля, Эдме и моя – находилась пока в распоряжении нашей матушки, которая была назначена опекуницей. Шен-Бидо, взятый в аренду отцом совместно с матерью, целиком оказывался в ее распоряжении, и она решила вести дела на заводе самостоятельно, в качестве мастерицы стекольного дела – звание, которого до той поры не носила ни одна женщина в нашем ремесле. Впоследствии, удалившись от дел, она собиралась поселиться в маленьком имении возле Сен-Кристофа, которое получила от своего отца, Пьера Лабе; а пока мама намеревалась единолично править в Шен-Бидо.

Я хорошо помню, как в августе 1780 года мы все собрались в конторе городского дома, для того чтобы обсудить нашу будущую жизнь. Матушка сидела во главе стола, вдовий чепец на золотистых, тронутых сединой волосах словно подчеркивал ее величественную осанку; теперь, когда ей было пятьдесят пять лет, шутиливый титул Королевы Венгерской подходил ей более чем когда-либо.

Робер стоял справа от нее или шагал по комнате, ни на минуту не оставаясь в покое. Он то и дело трогал рукой украшение на полке, которое считал своим по праву наследования. Слева сидел Пьер, глубоко погруженный в мысли, которые, как я была уверена, не имели ничего общего ни с законами, ни с наследством.

Мишель, примостившийся в конце стола, с возрастом становился все более похожим на отца. В свои двадцать четыре года он был невысок, коренаст и темноволос, работал мастером-стеколом на заводе Обиньи в Берри. Мы не видели его уже несколько месяцев. Не знаю, отчего он так повзрослел – оттого ли, что долгое время жил вдали от дома, или оттого, что вдруг осознал все значение смерти нашего отца, – но только он, по-видимому, утратил былую сдержанность и первым завел разговор о будущем.

– Если говорить обо мне, – начал он значительно решительнее, чем раньше, – мне незачем больше жить в Обиньи. Я бы предпочел работать здесь, если матушка захочет меня взять.

Я наблюдала за ним с любопытством. Это был поистине новый Мишель: он уже не молчал, угрюмо потупясь, но прямо глядел на мать, словно бросая ей вызов.

– Очень хорошо, сын мой, – одобрила она, – если ты так считаешь, я согласна принять тебя на работу. Только помни: теперь я хозяйка в Шен-Бидо и, пока занимаю это место, хочу, чтобы мне подчинялись и выполняли мои приказания безоговорочно.

– Меня это устраивает, – отвечал он. – В том случае, если приказания будут разумными.

Он ни за что бы так не ответил год тому назад, и хотя меня удивила его смелость, я втайне восхищалась братом. Робер перестал бегать по комнате и, посмотрев на Мишеля, одобрительно кивнул.

– Я еще не отдала ни одного приказания, – заметила матушка, – которое не послужило бы на благо «дома», находящегося в моем ведении. Единственной моей ошибкой было то, что я посоветовала вашему отцу отдать Роберу Брюлоннери, когда тот женился.

Мишель замолчал. Продажа Брюлоннери в уплату долгов Робера была тяжелым ударом, причинившим ущерб каждому из нас.

– Не вижу необходимости, – заявил Робер, когда молчание слишком затянулось и всем стало неловко, – вытаскивать на свет историю с моим свадебным подарком. Это было и прошло, мои долги уплачены. Как знаете все вы – матушка в том числе, – у меня отличные виды на будущее. Через несколько месяцев я стану первым гравировщиком по хрусталу на новом заводе в Сен-Клу. И теперь к тому же я имею возможность сделаться совладельцем, вложив в это предприятие собственные средства, стоит мне только пожелать.

Это была шпилька матушке. Наследство, полученное от отца, делало Робера независимым, теперь он мог поступать как заблагорассудится. Завещание было составлено задолго до отцовской болезни и до того, как Робер начал совершать свои сумасбродства. Матушка благо разумно оставила без ответа его колкость и обратилась к Пьеру:

– А ты что скажешь, мечтатель? Все мы знаем, что после возвращения с Мартиники десять лет назад ты занимался отцовским ремеслом только потому, что не имел возможности делать что-либо другое. И как оказалось, ты очень преуспел в этом ремесле. Но не думай, что я и дальше буду настаивать, чтобы ты работал со стеклом. Теперь, получив наследство, ты волен устроить свою жизнь на манер Жан-Жака – удалиться в леса, стать отшельником и питаться орехами и козьим молоком.

Пьер очнулся от задумчивости, потянувшись, зевнул и послал ей долгую медленную улыбку.

– Вы совершенно правы, – сказал он. – Я не имею желания оставаться в стекольном деле. Несколько месяцев тому назад я серьезно подумывал о том, чтобы отправиться в Северную Америку и сражаться там на стороне колоний в их борьбе за независимость против Англии. Это великое дело. Но потом я передумал и решил остаться во Франции. Я могу принести больше пользы здесь, среди своих сограждан.

Все мы широко раскрыли глаза. Кто бы мог подумать? Наш милый ленивый Пьер, чудак, как, бывало, называл его отец, и вдруг такое заявление.

– Ну и что? – ободряюще кивнула ему мать. – Что ты надумал?

Пьер с решительным видом подался вперед на своем стуле.

– Я хочу купить практику нотариуса в Ле-Мане, – объявил он. – Буду предлагать свои услуги тем, у кого нет денег и кто поэтому не может обратиться к настоящему адвокату. Сотни несчастных людей, не умеющих читать и писать, нуждаются в совете юриста. Им я и буду помогать.

Пьер – и вдруг нотариус! Если бы он сказал, что собирается стать укротителем львов, я была бы меньше удивлена.

– Весьма человеколюбивые намерения, – заметила матушка. – Однако должна тебя предупредить: состояния ты на этом не наживешь.

– У меня и нет такого желания, – возразил Пьер. – Каждый, кто обогащается, богатеет за счет бедняков. Пусть стремящиеся к богатству попробуют прежде примириться со своей совестью.

Я заметила, что, произнося эти слова, он не смотрел на Робера, и мне вдруг пришло в голову, что бедствия, постигшие брата сначала в Ружемоне, а потом в Вильнёв-Сен-Жорже, повлияли на Пьера гораздо сильнее, чем мы могли себе представить, и что теперь, таким вот странным образом, он намеревается возполнить ущерб. Первым, несмотря на заикание, пришел в себя и заговорил Мишель:

– П-прими мои п-поздравления, Пьер. Поскольку мне вряд ли удастся составить состояние, я, вероятно, буду одним из п-первых твоих клиентов. Во всяком случае, если уж никто не захочет воспользоваться твоими советами, ты всегда сможешь с-составить брачные контракты для Софи и Эйме. – Он так и не научился выговаривать «Эд» или «Эдме», и сестра превратилась для него в «Эйме».

Наша младшенькая, которую баловали все мы, в особенности отец, была удивительно молчалива, пока шли разговоры, но теперь нарушила молчание, словно бы защищаясь:

– Пьер, конечно, может составить мой брачный контракт, если ему захочется, но должна поставить условие: мужа я выберу себе сама. Ему будет не меньше пятидесяти лет, и он будет богат как Крёз.

Эти слова, произнесенные со всею решительностью четырнадцати лет, ослабили напряжение. Потом сестра объяснила мне, что сделала это нарочно: уж слишком серьезно все мы себя вели. Таким образом, мы обсудили будущее моих братьев и сделали это спокойно, никого не обижая.

Оставалось решить последнее. Робер подошел к стеклянной горке в углу комнаты и достал оттуда драгоценный кубок, сделанный в Ла-Пьере в тот знаменательный день, когда нас посетил король.

– Этот кубок, – заявил он, – принадлежит мне по праву наследования.

Никто не произнес ни слова. Все смотрели на мать.

– Ты считаешь, что заслужил его? – спросила она.

– Возможно, и нет, – ответил Робер. – Но отец сказал, что кубок должен принадлежать мне, а после перейти к моим детям. И у меня нет никаких оснований полагать, что он мог бы отступить от своих слов. Кубок будет отлично выглядеть в моем новом доме в Сен-Клу... Кстати, Катрин снова ожидает ребенка, он должен родиться весной.

Для матери этого было достаточно.

– Возьми, – разрешила она, – но помни, что сказал отец, когда обещал тебе его отдать. Этот кубок – символ высокого мастерства, а вовсе не талисман, который должен принести славу или богатство.

– Возможно, вы и правы, – отвечал Робер, – однако все зависит от того, в чьи руки он попадет.

Уезжая от нас в Париж, Робер увез с собой и кубок вместе со всем прочим своим имуществом, а в апреле, когда родился его сын Жак, брат и его многочисленные друзья, приглашенные на крестины, пили из кубка шампанское за здоровье новорожденного и родителей.

А мы остались в Шен-Бидо и вернулись к нашей размеренной жизни, но уже без отца. Все, кроме Пьера, который, следуя своему решению, купил практику нотариуса в Ле-Мане и посвятил себя делу помощи обездоленным. Мне казалось, что именно ему, а не Роберу, должен был достаться кубок. Хотя он и не занимался больше стекольным ремеслом, но все равно был мастером своего дела по самым высоким меркам, установленным нашим отцом. Конечно же, у него не было недостатка в клиентуре, и чем беднее подбирались клиенты, тем больше это нравилось Пьеру; у его крыльца всегда стояла длинная вереница несчастных, ожидающих своей очереди. Я подумывала о том, чтобы переселиться в Ле-Ман и вести хозяйство брата, мы с матушкой уже почти решили, что я поеду, как вдруг Пьер, не говоря никому из нас ни слова, взял да и обручился с дочерью одного торговца – мадемуазель Дюмениль из Боннетабля – и через месяц уже женился.

– Это так похоже на Пьера, – заметила матушка. – Помогает торговцу выпутаться из затруднительного положения и запутывается сам – женится на его дочери.

Мари Дюмениль была старше Пьера и не принесла ему никакого приданого, и это настроило мою мать против невестки. А между тем Мари была добрая женщина, отлично стряпала, и если бы она не подходила моему брату, он никогда бы на ней не женился.

– Будем надеяться, – говорила матушка, – что Мишель не даст себя так легко окрутить.

– Не беспокойтесь, – отвечал ее младший сын, – у меня слишком много д-дел в Шен-Бидо – только и делаю, что стараюсь не попасться вам на глаза, – так что никак не могу связывать себя женитьбой.

Но, по правде говоря, Мишель и матушка отлично ладили. Теперь, когда не было отца и никто не придирался к брату, не раздражался из-за его заикания, Мишель показал себя великолепным мастером – разумеется, под строгим надзором матери. Два или три мастера, работавших с Мишелем на заводе в Берри, последовали за ним в Шен-Бидо. Это указывало на то, что он пользовался среди них известным влиянием. Остальные наши рабочие и подмастерья были из Ла-Пьера, они трудились бок о бок с братом с самого начала или знали его с детства.

Все мы, живущие в Шен-Бидо, составляли как бы единое целое, общину, главой которой была моя мать, в то время как Мишель держался скорее как товарищ рабочих, чем управляющий. Подобно отцу, он был рожден руководить людьми, однако манера себя вести была у каждого своя. Когда отец перед началом плавки входил в плавильню, шумные разговоры и грубые шутки, столь обычные среди людей, живущих в тесном общении друг с другом, мгновенно прекращались; каждый человек молча и без лишней суеты занимался своим делом. Это происходило не из страха перед хозяином, но от глубокого уважения. Мишель не требовал от рабочих ни уважения, ни почтительного молчания. Чем больше шума, считал он, тем лучше идет дело, в особенности же работе помогает громкое пение – все стеклоделы по природе своей отличные певцы и любители посмеяться, а самые громкие и смелые шутки исходили обычно от самого Мишеля.

Он всегда знал, когда матушка должна появиться в мастерских – она поставила себе за правило обходить весь завод каждый день, – и в такие минуты призывал к порядку, и рабочие ему подчинялись. Мне кажется, мать догадывалась, что происходит в ее отсутствие, но, поскольку дела шли хорошо и выпуск продукции не снижался, у нее не было оснований жаловаться.

В Шен-Бидо мы продолжали производить лабораторную посуду и инструменты для научных исследований и поставляли эти свои изделия в соседние города Сомюр и Тур, не говоря уже о Париже. Наша малая печь была приспособлена именно для этого, а не для тонкого столового стекла, выпуск которого наладил мой дядя Мишель в Ла-Пьере. Это объяснялось тем, что у нас не было подходящих мастеров, хотя на нас работало более восьмидесяти человек, и тем также, что производство лабораторной посуды и инструментария требовало меньших затрат. Здесь, в Шен-Бидо, на матушкином попечении находилась и ферма, не считая сада и огорода; кроме того, на ней лежала забота о рабочих и их семьях – их было более сорока, некоторые жили на холме в Плесси-Дорене, другие – в лесах возле Монмирайля, но в основном они обитали в домишках, расположенных вокруг мастерских.

Нас с Эдме приучили заботиться о семьях рабочих наравне с матушкой. Это означало, что каждый день мы заходили в дома мастеровых, чтобы узнать, не нужно ли чего, – ведь никто из них не знал грамоты, и нам частенько приходилось писать за них письма к родственникам. Иногда по их поручениям мы ездили в Ферт-Бернар и даже в Ле-Ман. Обстановка в домишках рабочих была достаточно убогой, удобств никаких, ведь заработки были очень невелики.

Нас постоянно приглашали крестить детей, а это означало, что мы должны уделять крестникам и их родне больше внимания, чем остальным. Мы с Эдме считали эту честь несколько обременительной, однако матушка не позволяла нам от нее уклоняться. У нее самой было по крайней мере тридцать крестников, и она не забывала ни одного дня рождения.

В Шен-Бидо мы никогда не сидели без дела. Если не посещали семьи рабочих, то занимались домашними делами, выполняя указания матушки: стирали, чинили белье, ухаживали за садом и огородом или же собирали урожай и заготавливали впрок фрукты или овощи в зависимости от времени года. Матушка никому не позволяла бездельничать, и зимой, когда земля покрывалась снегом и нельзя было выходить из дома, она заставляла нас стегать одеяла для жен и детей рабочих.

Я не хотела никакой другой жизни и никогда не испытывала недовольства. И все-таки, когда мне разрешалось поехать в Париж к Роберу и Катрин, что случалось не чаще двух-трех раз в году, я рассматривала это как подарок судьбы.

Робер пока больше не делал глупостей. Положение первого гравера по хрусталию на стекольном заводе в парке Сен-Клу возле Севрского моста принесло ему некоторую известность. В 1784 году завод получил название Королевской мануфактуры хрусталя и эмали. Брат с женой жили недалеко от завода, и хотя в их распоряжении было всего две-три комнаты, значительно более скромные, чем покои Ружемона, Робер обставил их в самом модном стиле, а Катрин всегда была разодета как придворная дама, все такая же хорошенькая и любящая, всегда радующаяся моему приезду. Маленький Жак был прелестный малыш.

Что до Робера, я всегда невольно сравнивала его внешность и поведение с тем, как были одеты и как вели себя Пьер и Мишель. Если мне случалось приезжать в Ле-Ман и ночевать там, Пьер неизменно возвращался из конторы очень поздно – вечно его задерживал какой-нибудь из несчастных клиентов. Волосы нечесаны, галстук завязан кое-как, на сюртуке обязательно сидело пятно; он наскоро что-нибудь ел, не разбирая вкуса, и одновременно рассказывал мне очередную печальную историю о нуждах и злоключениях какого-нибудь бедняка, которого он стремился вызволить из беды.

Мишель тоже не уделял внимания своей внешности. Матери постоянно приходилось напоминать ему, чтобы брился, следил за ногтями и вовремя стригся, потому что порой брат выглядел не лучше наших углежогов.

А вот Робер... Волосы всегда напудрены, что придает ему такой изысканный вид. Сюртуки и панталоны сшиты у лучших портных. Никаких шерстяных чулок – только шелковые, и фасон туфель неизменно соответствует моде, ни за что не наденет башмаков с острыми носами, если модны квадратные. Когда вечером – или утром, в зависимости от смены, – он возвращался домой, вид у него был такой же безукоризненный, как перед уходом на работу, и он никогда не заводил разговора о том, что происходило в мастерской, к чему я привыкла в общении с другими моими братьями. Робер живо и остроумно пересказывал нам городские сплетни, часто далеко не безобидные, и у него обязательно имелась про запас какая-нибудь занимательная история, связанная с придворными кругами.

В те дни ходило особенно много разговоров о королеве. Ее расточительность и сумасбродства, ее пристрастие к балам и театру были широко известны, а рождение дофина хотя и вызвало всеобщее ликование, послужило поводом не только для празднеств и фейерверков, но и для пересудов. По столице пополз слухок, всюду хихикали и шептались, гадая, кто был отцом ребенка – уж точно не король.

Говорят... Мой брат сотни раз повторял это несимпатичное слово, а уж ему-то никак не следовало этого делать, поскольку королева покровительствовала стекольной мануфактуре в Сен-Клу.

Говорят, у королевы полдюжины любовников, в том числе братья короля, и она даже не знает, кто из них отец ее сына.

Говорят, последнее ее бальное платье стоило две тысячи ливров и девушки-швеи так измучились, торопясь закончить его к сроку, что многие из них умерли от усталости.

Говорят, когда король возвращается домой, утомленный после охоты, то сразу валится в постель, а королева исчезает, отправляется в Париж со своим деверем, графом д'Артуа, и друзьями – Полиньяками и принцессой де Ламбаль, и они – кавалеры и дамы, переодетые проститутками, – бродят по самым грязным и непотребным кварталам.

Неизвестно, кто распускал эти сплетни. Но мой брат с удовольствием передавал их нам, уверяя, что получает сведения из первых рук.

Гостя у Робера и Катрин весной 1784 года, я стала невольной причиной события, которое впоследствии оказало значительное влияние на будущее брата. Я предполагала вернуться

домой двадцать восьмого апреля, а накануне, двадцать седьмого, должна была состояться премьера новой пьесы – «Женитьбы Фигаро», написанной неким Бомарше. Робер непременно хотел посмотреть ее: в театре будет весь Париж; говорят, что в этой скандальной пьесе полно намеков на то, что делается в Версале, хотя благопристойности ради действие и перенесено в Испанию. Он хотел, чтобы я непременно отправилась вместе с ним. «Тебе это будет полезно, Софи, – говорил он. – Поспособствует твоему образованию. Ты у нас слишком провинциальна, а Бомарше сейчас самый модный писатель. Вот посмотришь пьесу и до конца дней сможешь рассказывать о ней у себя дома».

Последнее было маловероятно. Мишель станет насмешничать, матушка приподнимет брови, что же до Пьера, он просто скажет, что это лишнее доказательство морального разложения общества.

И тем не менее, поскольку это был мой последний день в Париже, я позволила себя уговорить. Оставив Катрин в Сен-Клу нянчить маленького Жака, мы отправились в театр в наемном экипаже. На мне было платье, сшитое портнихой в Монмирайле, в то время как Робер выглядел настоящим щеголем.

Театр осаждала огромная толпа, и я была уже готова повернуть назад, в Сен-Клу, однако Робер не хотел об этом и слышать. «Обопрись на мою руку, – велел он мне. – Мы обязательно должны пробраться внутрь. Обещай, что не упадешь в обморок. Положись на меня».

Расталкивая толпу, с трудом пробивая себе дорогу, мы в конце концов оказались в театре. Нечего и говорить, что ни одного свободного места не было видно. «Стой здесь и не двигайся, – приказал брат, поставив меня возле колонны. – Я что-нибудь устрою. Не может быть, чтобы здесь не оказалось кого-нибудь из знакомых». С этими словами он исчез в толпе.

Я бы отдала все на свете, чтобы оказаться на месте Катрин, которая качала и кормила своего маленького сына. Жара стояла невыносимая, невозможно было дышать от запаха пудры и румян, который исходил от стоявших вокруг меня женщин, безвкусно разодетых и разукрасившихся.

Я видела, как появились музыканты и заняли свои места в оркестре. Скоро начнется увертюра, а брата все еще не видно. Вдруг я заметила, что он машет мне рукой поверх голов, и, бормоча извинения и заикаясь не хуже Мишеля, стала пробираться к нему.

– Все устроилось как нельзя лучше, – шепнул он мне на ухо. – У тебя будет самое замечательное место в театре.

– Где?.. Что? – бормотала я, но он, к моему ужасу, повел меня к ложе, расположенной у самой сцены. Там в полном одиночестве восседал великолепный вельможа с синей орденской лентой.

– Герцог Шартрский, – шепнул Робер. – Магистр ложи «Великий Восток», глава всех масонов Франции. Я тоже принадлежу к этой ложе.

Брат постучал в дверь и, прежде чем я успела его остановить, сделал какой-то знак – тайный знак, благодаря которому масоны узнают друг друга, как он позднее мне объяснил, – и стал что-то быстро говорить кузену короля.

– Если бы вы только могли предоставить моей сестре место в вашей ложе, – произнес брат, толкая меня вперед, и не успела я опомниться и сообразить, что происходит, как герцог Шартрский уже предлагал мне руку и, улыбаясь, указывал на кресло, стоящее подле него.

Оркестр начал увертюру. Занавес поднялся. Пьеса началась. Я ничего не видела и не слышала, слишком взволнованная смелостью брата и слишком смущенная для того, чтобы понимать, что творится на сцене. Никогда в жизни – ни до того мгновения, ни после – не испытывала я таких страданий. Я не могла ни смеяться, ни аплодировать вместе со всеми. А в перерывах – их было четыре, – когда в ложе появлялись друзья герцога Шартрского, все роскошно одетые, и начинали обсуждать пьесу, я сидела как истукан, красная от смущения, и не смела поднять глаза.

Герцог, по-видимому, понял, насколько я сконфужена, потому что предоставил меня самой себе и больше ко мне не обращался. Только когда пьеса кончилась и Робер появился из аванложи, чтобы меня увести, я встретила с герцогом взглядом и заставила себя сделать реверанс, после чего мы с братом спустились вниз и замешались в толпу.

– Ну как? – спросил Робер, глаза которого так и сияли от удовольствия и возбуждения. – Не правда ли, это самый восхитительный вечер в твоей жизни?

– Совсем наоборот, – ответила я, ударяясь в слезы. – Самый ужасный!

Помню, как брат стоял в фойе и глядел на меня в полном недоумении, в то время как мимо проходили к своим каретам накрашенные, напудренные и увешанные драгоценностями дамы.

– Я просто не могу тебя понять, – повторял он снова и снова, пока мы катили к себе в Сен-Клу в наемном экипаже. – Упустить такую возможность! Ведь ты сидела рядом с будущим герцогом Орлеанским, самым влиятельным и известным человеком во всей Франции. Единственное словечко, сказанное ему на ушко, могло бы обеспечить будущее твоего брата на всю оставшуюся жизнь, а ты не сумела использовать такую возможность! Не нашла ничего лучшего, как разреветься, словно младенец.

Нет, Робер ничего не понимал. Красивый, веселый, жизнерадостный и отлично владеющий собой, он никак не хотел понять, что его младшая сестра, не получившая почти никакого образования и одетая в платье, сшитое провинциальной портнихой, принадлежала к миру, который он давно уже оставил позади, но который, несмотря на свою отсталость и сельскую простоту, был гораздо глубже и значительнее его собственного.

– Я бы охотнее простояла день у нашей печи, – сказала я брату, – чем провела бы еще один такой вечер.

Это приключение имело свои последствия. Герцог Шартрский, которому предстояло в следующем году сделаться герцогом Орлеанским, унаследовав этот титул после отца, жил в Пале-Рояле. Невзирая на оказанное ему серьезное сопротивление, он снес несколько мануфактур, видных из его окон, и велел облагородить пейзаж. Его дворец был теперь окружен аркадами, под которыми помещались кафе и лавки, рестораны и «зрительные залы» – словом, самые разнообразные заведения, которые могли бы привлечь публику. А над ними зачастую располагались игорные дома и клубы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.